

Маленькая хозяйка большого дома. Храм гордыни (сборник)

Автор:

Джек Лондон

Маленькая хозяйка большого дома. Храм гордыни (сборник)

Джек Лондон

Джек Лондон. Собрание сочинений (Клуб семейного досуга) #12

Общее для произведений этого тома – их жесткая реалистичность. Роман о любви и семейной жизни «Маленькая хозяйка Большого дома» с классическим любовным треугольником сменяется циклом гавайских рассказов. В них высмеяна спесь белых людей и их снисходительное отношение к людям иной расы («Храм гордыни», «Алоха Оэ»), показан яркий характер китайского крестьянина, ставшего мультимиллионером («Чун А-чун»), описаны трагические судьбы людей, пораженных неизлечимым недугом – проказой.

Джек Лондон

Маленькая хозяйка большого дома. Храм гордыни (сборник)

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», предисловие и художественное оформление, 2009, 2011

Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства

Маленькая хозяйка Большого дома

Глава I

Он проснулся, когда было еще темно, проснулся легко и сразу, не двинувшись даже, – открыл глаза и понял, что день еще не начался. Большинство людей, просыпаясь от сна, прислушивается, ворочается и как бы ориентируется в окружающем их мире; он же, проснувшись, сразу ощутил себя в определенном времени и пространстве. После долгого сна он без всякого усилия продолжал прерванную сном повесть своей жизни. Он знал, что он Дик Форрест, хозяин обширных имений, заснувший накануне поздней ночью; помнил, что, погружаясь в дремоту, предварительно вложил спичку между страниц «Придорожного Города» и нажал кнопку электрической лампочки.

Вблизи раздавался неясный шум тихого фонтана. Издалека доносились звуки, которым он радостно улыбнулся, но звуки столь глухие и далекие, что только очень острый слух мог разобрать их. Он слышал глухой горластый рев Короля Поло – лучшего из его шортхорнских быков, трижды признанного чемпионом всех быков Сакраменто и премированного на выставках штата Калифорния. Улыбка медленно сходила с лица Дика Форреста: невольно он мысленно остановился на новых победах, подготовленных им к этому году для Короля Поло на восточных рынках рогатого скота. Он им всем покажет, что бык, рожденный и вскормленный в Калифорнии, вполне может соперничать с самыми первосортными быками, выкормленными кукурузой Айовы или привезенными из-за океана – старой родины шортхорнов.

Через несколько секунд улыбка исчезла с его лица, он протянул руку и нажал в целом ряду кнопок первую. Таких рядов было три. Под тусклыми лучами света, пролившимися с огромного плафона, выявился спальный портик, с трех сторон окаймленный тонкой сетью медной проволоки. С четвертой стороны шла наружная стена дома из прессованного бетона с венецианскими окнами, служившими для прохода.

Он надавил вторую кнопку того же ряда, и яркий свет упал на один только угол бетонной стены, заливая светом часы, барометр и два термометра – Цельсия и

Фаренгейта. Беглым взглядом он охватил очередной бюллетень: время 4.30; давление 29,80; все в порядке вещей для этого времени года и на данной высоте; температура по Фаренгейту – 36°. Он опять надавил кнопку, и приборы снова погрузились во мрак.

Третья кнопка зажгла ему лампу для чтения, прикрепленную так, что свет падал сверху и сзади, а не прямо в глаза; первая же погасила матовый плафон. Он достал со столика пачку корректуры, зажег сигарету и, взяв в руку карандаш, принялся работать.

Комната представляла собой типичную спальню делового человека. Она была скромна и комфортабельна. Серая эмалированная кровать – под цвет бетонной стене. В ногах кровати лежал на покрывале его серый халат из волчьих шкурок с болтающимися хвостиками. На полу, на мохнатой шкуре горной козы, стояли туфли.

На большой конторке для чтения, рядом со сложенными в образцовом порядке книгами, журналами, записными книжками и блокнотами, оставалось еще место для спичек, сигарет, пепельницы и термоса. Тут же, на подставке, стоял подвешенный на петлях диктофон. На стене, под барометром и термометрами, из круглой деревянной рамки смело смотрело смеющееся женское лицо, а дальше, между кнопками и доской со штепселями, из открытой кобуры высывалась рукоятка 44-миллиметрового автоматического кольта.

Ровно в шесть часов, когда серый свет уже проникал через проволочную сетку, Дик Форрест, не отрывая глаз от листов корректуры, протянул правую руку и надавил кнопку второго ряда. Пять минут спустя в спальню портик неслышно вошел китаец, неся небольшой медный полированный поднос с чашкой и блюдечком, крошечным серебряным кофейником и таким же крошечным серебряным сливочником.

– Доброе утро, О-Дай, – приветствовал его Дик Форрест, улыбнувшись.

– Доброе утро, хозяин, – ответил О-Дай, очищая на столе место для подноса и наливая кофе и сливки.

О-Дай заметил, что хозяин уже держит чашку кофе в одной руке, продолжая правку другой, и, не дожидаясь дальнейших приказаний, поднял с пола светло-

розовый легкий кружевной чепчик и вышел так же бесшумно, как вошел. Он исчез, как тень, в раскрытой венецианской двери.

Ровно в половине седьмого он вернулся с другим подносом, побольше. Дик Форрест отложил корректуру, достал книгу с названием «Коммерческое разведение лягушек» и принялся есть. Завтрак был прост, но сытен: опять кофе, фрукты, два яйца всмятку в стакане с кусочком масла – очень горячие, и ломтик неперезаренной свиной грудинки от собственных свиней и собственного копчения.

Солнце сквозь сетку уже обливало кровать. С наружной стороны к проволочной сетке прилипло множество мух, в этом году слишком рано появившихся и оцепеневших от ночного холода. Форрест за едой обратил внимание на охоту за ними плотоядных ос. Выносливее пчел, они не боялись мороза и проносились в воздухе над ошалевшими мухами. Шумное жужжание не пугало ос; желтые хищники почти всегда попадали прямо на намеченных ими беспомощных жертв и улетали, унося их с собою. Последняя муха исчезла прежде, чем Форрест допил кофе и заложил спичку в «Коммерческое разведение лягушек», чтобы взяться за корректуру.

Время шло, и нежное пение жаворонка, первого запевалы утреннего хора, остановило его; он посмотрел на часы. Стрелка показывала семь. Отложив листы, он стал вызывать к телефону одного за другим ряд служащих, опытной рукой нажимая штепселя на доске.

– Алло, О-Пой, – начал он. – Что, мистер Тэйер поднялся?.. Прекрасно, не беспокой его. Не думаю, чтобы он завтракал в постели, но узнай... Правильно, и покажи ему, как идет горячая вода, может быть, он не знает... Да, отлично, вызови еще одного боя и поскорее, если можно. С началом хорошей погоды, как всегда, столько народу нахлынет... Конечно, я на тебя полагаюсь...

– Мистер Хэнли?.. Да! – заговорил он затем, включив другой штепсель. – Я все обдумываю план этой Бьюкэйской плотины. Дайте мне, пожалуйста, смету, сколько будет стоить доставка гравия и ломка скал. Да, да, мне кажется, что доставка гравия обойдется приблизительно на шесть-десять центов дороже за ярд, чем дробление скал. Последний спуск скалы всегда мешает подвозу гравия. Вы разработайте все цифровые данные. Нет, раньше чем через две недели мы начать не сможем... Да, да, если только придут новые тракторы, они избавят лошадей от пахоты, но в случае задержки их придется вернуть... Нет, по этому

поводу вам придется поговорить с мистером Эверэном. До свиданья.

И наконец, третий звонок:

– Мистер Досон... что? У меня здесь сейчас тридцать шесть градусов. В равнинах, должно быть, все покрыто инеем, но, вероятно, это уже в последний раз в этом году... Да, они клялись, что тракторы доставлены еще два дня тому назад... Вызовите начальника станции; кстати, поймайте мне Хэнли. Я забыл отдать распоряжение пустить в ход крысоловки со второй партией мухоловок... Да, поскорее... у меня сегодня утром их было несколько дюжин на сетке... Да... Всего хорошего.

Форрест выпрыгнул из кровати в пижаме, всунул ноги в туфли и быстрыми большими шагами прошел через венецианскую дверь в ванную, где О-Дай уже приготовил воду. Не прошло и пятнадцати минут, как он, успев побриться, уже лежал в кровати и читал книгу о своих лягушках, а О-Дай, безупречно точный, уже массировал ему ноги. Это были сильные красивые ноги хорошо сложенного человека, ростом в пять футов и десять дюймов, весом в сто восемьдесят фунтов. По ним можно было угадать многое. Левое бедро было изуродовано шрамом дюймов в десять длиной. Поперек левой же лодыжки, от подъема до ступни, виднелись штук шесть шрамов, величиной с серебряный доллар каждый. Когда О-Дай чуть сильнее мял и вытягивал левое колено, Форрест невольно вздрагивал. На правой голени также темнело несколько шрамов, а прямо под коленом до самой кости виднелся один большой шрам. От колена до паха шли следы старого ранения в три дюйма длины, усеянные еле заметными проколами снятых швов.

Снаружи вдруг раздалось веселое ржание, и, пока О-Дай одевал своего хозяина, натягивая на него носки и ботинки, Форрест вложил спичку в страницу книги о лягушках и выглянул в окно.

Было видно, как по дороге сквозь колыхавшиеся пышные ветви сирени на поводу у ехавшего впереди него живописно одетого всадника-ковбоя шагала огромный конь, сверкая красноватым отливом в золотистых лучах утреннего солнца, роняя клочья белоснежной пены, надменно вскидывая чудесную гриву, ища кругом глазами, между тем как трубные звуки его любовного призыва разносились по весенней земле.

Дика Форреста сразу охватили радость и тревога: радость при виде чудесного животного, шагающего вдоль живой изгороди сирени, тревога по поводу того, что жеребец мог разбудить женщину, смеявшуюся из круглой деревянной рамки на стене. Он быстро перевел взгляд через большой двор на длинный тенистый выступ ее флигеля. Ставни ее спального портика были закрыты, они не шевельнулись. Жеребец снова зафыркал, и золотисто-зеленым пучком света, брошенным солнцем, с цветов и кустарника, застилавших двор, поднялась стая диких канареек.

Он следил за жеребцом, пока тот не скрылся из виду в чаще сирени, и начал мечтать о новых ширских жеребцах, прекрасных, крупных и чистокровных, и тут же, как и всегда, перешел на самое существенное и заговорил со своим слугой:

– Как новый мальчик, О-Дай, что он – хорош?

– Недурен, мне кажется, – отвечал О-Дай на ломаном английском языке, – он очень молодой, ему все ново. Медленно работает. Но, мне кажется, он понемножку привыкнет.

– Почему? Почему ты так думаешь?

– Я будил его три или четыре раза по утрам, он спит, как младенец; просыпаясь, улыбается точно так же, как вы. Это очень хорошо.

– Разве я, когда просыпаюсь, улыбаюсь? – спросил Форрест.

О-Дай с жаром закивал головой.

– Вот уже много лет, как я бужу вас. Ваши глаза всегда улыбаются, ваш рот улыбается, ваше лицо улыбается, вы весь улыбаетесь, вот так, очень быстро. Это очень хорошо. Человек, так просыпающийся, очень неглуп. Я знаю. Этот новый мальчик такой же. Поэтому очень скоро из него будет отличный мальчик, вы увидите. Его зовут Чжоу Гэн. Как мы его здесь будем звать?

Дик Форрест задумался.

– А какие у нас уже есть имена? – спросил он.

– О-Рай, Ой-Ли, Ой-Ой, а я – я О-Дай, – быстро перечислял китаец. – О-Рай говорит, что надо назвать нового боя...

Он остановился, колеблясь, и поглядел на хозяина, вызывающе подмигивая глазом. Форрест кивнул головой.

– О-Рай говорит, что надо назвать нового мальчика О-Черт.

– Охо! – засмеялся Форрест, вполне оценив шутку. – О-Рай молодец. Имя придумано отлично, но оно не подойдет. Надо думать о хозяйке, придется подобрать другое имя, при хозяйке ругаться нельзя.

– О-Хо! – вот хорошее имя.

Восклицание Форреста еще звенело у него в голове, и он понял источник вдохновения китайца.

– Отлично, пусть мальчик зовется О-Хо.

О-Дай кивнул головой, быстро вышел через дверь и так же быстро вернулся с остальной одеждой своего господина; он помог ему надеть тонкую фуфайку и рубашку, накинул ему на шею галстук, предоставляя ему самому завязать его, и, став на колени, надел на него длинные ботинки со шпорами. Широкополая фетровая шляпа и плетка, свисающая с локтя на кожаной петле, – и он был готов.

Но выйти он еще не мог. О-Дай подал ему несколько писем, пояснив, что их получили с вокзала поздно вечером, когда Форрест уже лег. Он разорвал конверты и быстро просмотрел их, кроме одного. На этом он остановился подольше, раздраженно нахмутив брови, затем выдвинул диктофон, нажал кнопку, пустившую цилиндр, и стал быстро диктовать, ни разу не остановившись, чтобы подыскать слово или мысль:

«В ответ на ваше письмо от 14 марта 1914 г. сообщаю, что мне было весьма прискорбно узнать об эпидемии у вас свиной холеры. Мне также очень неприятно, что вы нашли возможным возложить на меня ответственность за нее. И еще более неприятно, что боров, мною вам посланный, пал.

Считаю нужным заверить вас, что у нас никакой холеры нет и не было за последние восемь лет, за исключением двух случаев, принесенных к нам с Востока; из них последний был два года тому назад. В обоих случаях, согласно общим нашим правилам, скот был изолирован тотчас же по приезде и заколот прежде, чем зараза могла передаться нашему скоту.

Считаю также нужным сообщить вам, что ни в одном из этих случаев я не обвинил торговцев в присылке мне зараженного скота. Наоборот, памятуя (это следовало бы знать), что инкубационный период свиной холеры длится девять дней, я заглянул в документы, свидетельствующие о дне отправки скота, и убедился, что в момент погрузки они были вполне здоровы.

Неужели вам не известно, что за распространение холеры в большей мере ответственны железные дороги? Слышали ли вы когда-либо, чтобы железная дорога дезинфицировала или окуривала вагоны, зараженные холерой? Вглядитесь в числа: проверьте, во-первых, когда я погрузил животных на пароход, во-вторых, когда вы получили свиней, в-третьих, установите время появления у борова холерных симптомов. Вы сами пишете, что из-за дурной погоды на море боров находился в пути пять дней. Первые симптомы появились на седьмой день после доставки, что вместе составляет двенадцать дней с момента отправки.

Я не согласен с вами и не могу взять на себя ответственность за несчастье, постигшее ваше стадо. В заключение предлагаю вам полностью убедиться в моей правоте, написать государственному ветеринару и узнать у него, есть ли холера у моих животных.

Преданный вам...»

Глава II

Форрест, выйдя из своего спального портика, прошел сначала мимо комфортабельно обставленной туалетной комнаты, с диванами у окон, со шкафчиками, с большим камином и с отдельным ходом в ванную, а затем направился в большую контору, обставленную письменными столами, с диктофонами, регистраторами, книжными шкафами, вырезками из журналов и

разделенными на клетки полками, возвышающимися до низкого сводчатого потолка.

Дойдя до середины комнаты, он нажал кнопку, и несколько нагруженных книгами полок повернулись на своей оси, раскрыв узенькую винтовую стальную лесенку, по которой он спустился очень осторожно, чтобы не задеть шпорами книжных полок, становившихся обратно на место. Внизу, нажав на другую кнопку и соответственно повернув полки, он вошел в длинную узкую комнату, с пола до потолка уставленную книжными полками и шкафами. Подойдя прямо к одному из них, он протянул руку к определенной полке и сразу достал нужную книгу. С минуту он ее перелистывал, нашел нужную справку, кивнул головой, как бы найдя подтверждение, и положил книгу на место. Из этой комнаты другая дверь выходила на веранду из четырехугольных бетонных колонн; на них опиралась сквозная сетка брусьев из мамонтового дерева, покрытая более тонкими стволами того же дерева с золотисто-багряной корой, похожей на толстый, словно узорный, бархат.

Ему пришлось идти мимо длинных бетонных стен расположенного на большом пространстве дома, но он не искал кратчайшего пути. Под старинными дубами с обгрызанными стволами, где вбитая глубоко колея и разрытый копытами гравий свидетельствовали о местонахождении коновязи, он увидел светло-золотистую кобылу. Хорошо вычищенная шерсть ее искрилась под косыми лучами утреннего солнца, проникавшими через лиственный свод. Она трепетала и сверкала. Сложением она была похожа на жеребца, а проходившая вдоль ее позвоночника узкая темная полоса шерсти указывала на ее несомненное происхождение от древнего рода мустангов.

– Как сегодня Людоедка? – спросил Форрест, снимая с нее недоуздок. Она заложила назад свои крошечные уши, явно свидетельствующие о романе одного из ее породистых предков с дикой горной кобылицей, и заблестела оскаленными зубами и злыми глазами, а потом, когда он вспрыгнул в седло, отскочила в сторону, забрыкалась и, все еще пытаясь встать на дыбы, понеслась по усеянной гравием дороге. Она и встала бы на дыбы, если бы не мартингал, мешавший ей закидывать голову и оберегавший всадника от последствий ее злости.

К этой кобыле он так привык, что почти не обращал внимания на ее выходки. Он управлялся с ней, как хотел, почти машинально, чуть касаясь поводом ее выгнутой дугой шеи или тихонько щекоча ее шпорой или давая шенкеля. И вдруг Людоедка так закрутилась и затанцевала, что он стал лицом к Большому

дому. Дом, раскинувшийся на большом пространстве, все же был меньше, чем казался. С лицевого фасада он простирался на восемьсот футов. Большая часть пространства была занята коридорами с бетонными стенами и черепичными крышами, связывавшими и объединявшими различные части здания. Тут были внутренние дворики и веранды; стены с многочисленными прямоугольными выступами и углублениями вырастали из зелени и цветов. Архитектура Большого дома была близка к испанской, но не мексиканско-испанского типа, занесенного из Мексики лет сто назад, а модернизированного современными архитекторами, придавшими ему специфический калифорнийско-испанский характер. Большой дом при всей своей сложности был близок к стилю испано-мавританскому, хотя некоторые эксперты горячо спорили против этого определения. Он поражал просторностью без всякой казарменности и сдержанностью форм. Очертания его прерывались линиями выступов и углублений, прямоугольными и строгими. При этом неправильное очертание крыши снимало с него всякое однообразие. Четырехугольные вышки башен и башенок, высившихся друг над другом, придавали дому высоту; эту низкую и расползшуюся постройку нельзя было назвать приземистой. Большой дом был прочен. Рассчитанный на тысячу лет, он не боялся землетрясений. Бетон был покрыт пластом цемента кремового цвета. Однообразие тонов могло бы казаться утомительным для глаз, если бы не светлая краска ярко-красных испанских черепиц плоских крыш.

Кобыла танцевала, и взгляд Дика Форреста разом обнимал весь Большой дом; он на одну секунду с нежностью остановился на большом флигеле, стоявшем в глубине двухсотфутового двора, где под громоздящимися башенками, огненно-красными от утреннего солнца, закрытые ставни спального портика показывали, что хозяйка все еще спит.

Вокруг расстилались волнистые, тщательно скошенные холмы, разделенные на пастбища, уходящие в более высокие холмы, крутые лесные склоны, переходившие все выше и все круче в высокие горы. С другой стороны равнина таяла в мягких склонах, спускавшихся к далеким низким долинам, охватить которые взглядом было трудно, несмотря на ясный бодрый морозный воздух. Кобыла зафыркала. Дик подтянул ее шенкелями, и, слушаясь его, она сошла с середины дороги и пошла по краю. Он уже слышал около себя топот ног по гравию и увидел живую ленту белого блестящего шелка, сразу поняв, что это его лучшее стадо ангорских коз, каждая из которых имела свою родословную. Их было около двухсот, и он знал, что благодаря строгому подбору, неуклонно проводимому им, и тому, что их осенью не стригли, блестящая ангорская шерсть, покрывающая самую молодую, тонкая, как волос новорожденного или

еще тоньше, и белая, как альбинос, или еще белее, была длиннее, чем классические двенадцать дюймов. Шерсть лучших из них может быть выкрашена в любой цвет на длинные косы, которые будут носить женщины, хотя бы их продавали по самым сумасшедшим ценам. Красота их поразила его. Вся дорога превратилась в поток живой шелковистой ленты, испещренной желтыми кошачьими глазами, плывущей мимо и с осторожностью и любопытством разглядывавшей его и чуткую лошадь. Два пастуха-баска шли сзади. Оба были невысокие, плечистые, смуглые, черноглазые, с живыми лицами, но с выражением созерцательным и вдумчивым. Они сняли шапки и низко ему поклонились. Форрест поднял правую руку с висящей на кисти плеткой, а правым указательным пальцем ответил по-военному, касаясь края своей широкополой шляпы.

Кобыла снова заплясала и завертелась. Он подтянул повод, погрозил шпорой, не сводя глаз с четвероногого живого шелка, устилавшего дорогу блестящим белым покровом. Он знал, куда их вели. Наступало время прироста, и их спускали с пастбищ в горное подлесье, под загоны, где в течение всех этих критических дней за ними требовался тщательный уход и полагалось лучшее питание. Он смотрел и вспоминал, как выглядят все виденные им лучшие турецкие и южноафриканские ангорские породы; его стадо вполне выдерживало сравнение. Оно действительно имело хороший вид. Оно имело вид превосходный!

Он поехал дальше. Кругом слышалось торопливое щелканье автомобильных платформ-удобрителей. Вдали, на низких отлогих холмах, он смутно разглядел вереницы упряжек. Он знал, что это его ширские кобылы, впряженные по три, пашут землю, вспахивая целину, выворачивая зеленый дерн горных склонов и освобождая богатую, рыхлую, темно-коричневую влажную землю, такую насыщенную, что она рассыпалась от одной своей тяжести, распыляясь, точно просеянная. Эта земля предназначалась для кукурузы и кормовых трав. Согласно его системе севооборота, другие склоны холмов уже были покрыты высоким ячменем, а на следующих зеленели всходы люцерны и канадского горошка. Всюду большие и малые поля были обработаны по системе, делающей их такими доступными для земледелия, что один взгляд на них должен был согреть сердце самого придирчивого специалиста. Все заборы были устроены так, что ни быку, ни свинье не удалось бы через них перелезть; на полях не росло ни одной сорной травинки. Многие ровные поля были покрыты американской люцерной, на других уже созревал урожай, посаженный прошлой осенью, или подготавливался весенний посев. Участки, примыкающие к загонам, были отведены под пастбище шропширских и французских мериносовых овец

или же для племенных свиней, при виде которых в глазах Дика вспыхнуло удовольствие.

Он проехал мимо поселка, отличавшегося от города только отсутствием лавок и гостиниц. Довольно вместительные особнячки, приятные на глаз, стояли посреди садов, где более устойчивые цветы, не исключая и роз, точно улыбались угрозе позднего мороза. Дети уже встали и возились между цветами или бежали домой завтракать. Отъехав с полмили от Большого дома, он выехал к целому ряду мастерских. У первой же из них он остановился и заглянул внутрь. Один кузнец стоял у наковальни; другой, очевидно, только что подковав переднюю ногу пожилой кобылы, весившей не меньше тысячи восьмисот фунтов, спиливал терцугом наружную сторону копыта, подгоняя его к подкове. Форрест все заметил, поклонился и двинулся дальше, но, отъехав на сто футов, остановился и записал что-то в записную книжку, тут же вытащенную из кармана.

Он проехал мимо других мастерских: малярной, тележной, водопроводной и столярной. Пока он заглядывал в последнюю, мимо него быстро пронеслась странная на вид машина, не то автомобиль, не то фургон, и, свернув на большую дорогу, покатила к станции, находившейся в восьми милях от имения. Он узнал грузовик, принимавший утреннее масло с молочной фермы и отвозивший его к товарному поезду.

Большой дом был подлинной осью этого огромного имения. Он был центром, от которого прочно исходили круги, опоясывавшие его на полумиллю разными хозяйственными службами. Беспреданно раскланиваясь со своими служащими, Дик Форрест проскакал галопом мимо молочных ферм, множества построек с целыми крепостями, приспособленными для хранения зерна. Возчики навоза подымались по мосткам, перекинутым над дорогой, а спустившись, опрокидывали свою ношу в поджидающие их грузовики-удобрители. Форреста не раз останавливали разные служащие, часто с университетским значком, верхом или в повозках, и советовались по разным вопросам. Это были управляющие отдельными отраслями, и разговоры их были лаконичны и деловиты, как и требовал хозяин. Последний из них, верхом на трехлетней лошадке, грациозной, но дикой, как еще необъезженный арабский конь, хотел проехать мимо просто с поклоном, но Форрест остановил его.

– Доброе утро, мистер Хеннеси, а скоро ли лошадь будет готова для миссис Форрест? – спросил Дик.

– Мне нужно еще с неделю, – ответил Хеннеси. – Она теперь хорошо объезжена, именно так, как хотела миссис Форрест, но еще очень нервничает и слишком чутка, и ей бы еще с неделю надо, чтобы привыкнуть и успокоиться.

Форрест кивнул головой в знак согласия, и Хеннеси, ветеринар, продолжал:

– Я бы хотел рассчитать двух погонщиков, работающих на люцерне.

– А в чем дело?

– Один из них, Хопкинс, бывший солдат; с правительственными быками он, может быть, и умеет обращаться, но ширские ему не под силу.

Форрест кивнул.

– Другой работает у нас уже два года, но сейчас запил и все неудачи вымещает на лошадях.

– Это, верно, Смит, американец старого типа, бритый, левый глаз косит? – перебил Форрест.

Ветеринар утвердительно кивнул.

– Я за ним наблюдал, – закончил Форрест. – Вначале он хорошо работал, но в последнее время что-то свихнулся. Конечно, отправьте его вниз, в долину. Этого другого парня, вы говорите, его фамилия Хопкинс, тоже отправьте с ним. Кстати, мистер Хеннеси, вот что, – Форрест достал записную книжку, вырвал из нее только что исписанную страницу и смял ее в руке. – У вас в кузнице новый человек лошадей подковывает, вы как его находите?

– Он недавно работает у нас, я еще к нему не присмотрелся.

– Ну, отправьте и его заодно. Он нам не годится. Я сейчас видел, как он прилаживал подкову старенькой Ольден Бесси: около дюйма с копыта соскоблил.

– Думал – сойдет, а отлично знал, что так нельзя.

– Вот и отправьте его в долину, – повторил Форрест и, чуть-чуть пощекотав шпорами гарцевавшую под ним лошадь, стрелой пустился по дороге, хотя лошадь брыкалась и пыталась встать на дыбы.

Многое, что видел, его радовало. Он даже вслух пробормотал: «Жирная земля, жирная земля». Но попадалось такое, что не нравилось ему, и он это тотчас заносил в записную книжку. Объехав вокруг Большого дома и выехав дальше, он остановился у группы барачков и загонов. Это и была, собственно, цель его поездки – больница для скота. Здесь он нашел только двух телок, с подозрением на туберкулез, и великолепного борова дюрок-джерсейской породы в отличном состоянии. Весил он шестьсот фунтов; яркие глаза, быстрые движения и блеск шерсти свидетельствовали о том, что он совершенно здоров. Однако, поскольку он был только недавно перевезен из Айовы, по раз навсегда установленному в имении обычаю, он подвергался определенному карантину. По книгам он значился под именем Бургесс Первый, двух лет, и обошелся Форресту в пятьсот долларов, занесенных в табель расходов по имению.

Проехав галопом по дороге, перпендикулярной к кругу, образуемому Большим домом, Форрест поравнялся с Креллином, управляющим свиноводством, и в течение пяти минут совместно с ним решил участь Бургесса Первого на ближайшие месяцы. Он тут же узнал, что племенная свинья Леди Айлтон, удостоенная голубой ленты на всех выставках от Сиетла до Сан-Диего, благополучно разрешилась одиннадцатью поросятами. Креллин рассказал, что он просидел с нею полночи и теперь едет домой принять ванну и позавтракать.

– Я слышал, что ваша старшая дочь окончила среднюю школу и хочет поступить в Стэнфорд, – сказал Форрест, сдерживая кобылу, только что собравшуюся пуститься в галоп.

На лице Креллина, еще молодого человека лет тридцати пяти, сочеталась зрелость отца семейства с живостью интеллигентного человека, проводящего все время на открытом воздухе и ведущего здоровый образ жизни. Он вполне оценил интерес хозяина к его частным делам и, слегка вспыхнув, утвердительно кивнул головой.

– Обдумайте это хорошенько, – посоветовал Форрест. – Помните всех знакомых вам девушек, окончивших университет. Узнайте, сколько из них работает по специальности, а сколько вышли замуж через два года после получения

дипломов и перешли на производство младенцев.

– Елена относится к этому серьезно, – возразил Креллин.

– Помните, когда меня оперировали по поводу аппендицита? – ответил Форрест. – Ну, лучше, чем моя сестра милосердия, я не видел, прелестная девушка! Она только что перед тем получила диплом, всего за шесть месяцев. А четыре месяца спустя мне пришлось посылать ей свадебный подарок, она вышла замуж за представителя автомобильной фирмы. С тех пор она все живет по гостиницам. У нее даже случая не было ни за кем ухаживать, даже из собственных детей хоть бы один заболел расстройством желудка. Но... у нее есть надежды... и осуществляются они или нет... пока она бесконечно счастлива... К чему же ей было учиться?

Мимо проехала пустая удобрительная платформа, и спешившийся Креллин и Форрест на своей кобыле отошли на край дороги. Форрест заискрившимися глазами взглянул на пристяжную кобылу, огромную, очень правильно сложенную ширскую, заслужившую и себе и своим потомкам такое количество голубых лент, что для перечисления и классификации их понадобился бы опытный счетовод.

– Посмотрите на Принцессу Фозрингтонскую, – сказал Форрест, кивнув на утешившую его лошадь. – Вот вам нормальный представитель женского пола, одна только случайность помогла человеку после тысячи лет подбора домашнего скота выработать из нее ломовую лошадь. Но то, что она ломовая, это дело второстепенное, главное – она остается производителем. Посмотрите на наших женщин: больше всего они любят нас, мужчин, и сильнее всего ими правит чувство материнства. Никакого биологического оправдания для всей этой шумихи о женских политических правах и о женском труде нет.

– А экономические причины? – возразил Креллин.

– Это правда, – согласился его патрон, но тут же выставил новые возражения. – Современная промышленная система мешает бракам и заставляет женщин искать работу. Но помните, промышленные системы рождаются и умирают, а биология бессмертна.

– В наше время довольно трудно удовлетворить женщину лишь браком, – протестовал управляющий.

Дик Форрест засмеялся недоверчиво.

– Едва ли, в этом я не уверен, – сказал он. – Возьмите, например, вашу жену. Посмотрите на нее с ее дипломом, и она при этом классик, – что же она извлекла из своего классицизма? Двух мальчиков и трех девочек, если я не ошибаюсь?.. Я помню, вы мне говорили, что обручились с нею, когда она проходила последний семестр.

– Это правда, – настаивал Креллин, весело усмехнувшись, – но ведь это было пятнадцать лет тому назад, и это был брак по любви. Иначе мы поступить не могли. В этом я с вами согласен. Она мечтала пойти необыкновенно далеко, а я не мог успокоиться на чем-либо ином, чем на деканстве в сельскохозяйственном колледже, но иначе мы поступить не могли. Однако это было пятнадцать лет тому назад, а пятнадцать лет перевернули все мечты и идеалы наших молодых девушек.

– Не верьте вы этому, мистер Креллин, статистика вам покажет, что все это преходяще: всякая женщина остается женщиной навсегда. Пока наши девочки не перестанут играть с куклами и смотреть в зеркало на свое обаятельное отражение, женщина не перестанет быть тем, чем она была всегда: сначала матерью, а потом подругой мужчины. Это, как я сказал, может быть проверено статистикой. Я следил за девушками, получающими высшее образование. Вы заметьте, кстати, что те, кто выходят замуж до окончания, вообще исключаются из института. Но даже и окончившие занимаются педагогикой в среднем не больше двух лет. А если вы примете во внимание, что многие из них заранее обречены на то, чтобы остаться старыми девами и заниматься педагогическим трудом всю свою жизнь просто потому, что они некрасивы или им не повезло, то вы увидите, что они своей деятельностью естественно сокращают срок работы вышедших замуж.

– Имея дело с мужчинами, женщина, даже молодая девушка, всегда добьется своего, – пробормотал Креллин, чувствуя себя бессильным оспаривать цифры, на которые ссылался его патрон, но про себя твердо решивший проверить их.

– И ваша дочь поступит в Стенфорд, – засмеялся Форрест, готовясь пустить свою кобылку галопом, – и вы, и я, и все мужчины до скончания веков будут делать все, что требуется, чтобы только они могли настоять на своем?

Креллин усмехнулся про себя, провожая глазами хозяина. Мысль, вызвавшую у него улыбку, можно было бы формулировать так: «А где же ваш ребенок, мистер Форрест?» Он решил повторить этот вопрос миссис Креллин за утренним кофе.

Не доезжая до Большого дома, Дик Форрест снова остановился. Он заговорил с неким Менденхоллом, управляющим коневодством и экспертом по пастбищам и фуражу; о нем говорили, что он знает не только каждую травинку по всему имению, но и ее длину и возраст.

Форрест его окликнул, и Менденхолл остановил двух жеребят, которыми правил, сидя в тяжелом двухместном экипаже. Форресту он понадобился потому, что ему захотелось поделиться со специалистом мыслью, мелькнувшей у него при виде северного края долины, где волнистые холмы, сейчас освещенные солнцем и поражающие яркостью своей зелени, выступом выдавались в бесконечную долину Сакраменто.

Последовавший затем разговор отличался краткостью и подбором выражений, понятных только посвященным. Речь шла о травах. Говорилось о зимнем дожде и о вероятности новых дождей предстоящей поздней весной; упоминались разные названия вроде Малый Койот и ручейки Лос-Кватос, холмы Йоло и Миримар, Большой Бассейн, Круглая Долина, хребты Сан-Ансельмо и Лос-Банос. Обсуждалась переброска стад и табунов в прошлом, настоящем и будущем, а также виды на засеянные луга на далеких горных пастбищах и оценка сена, оставшегося с зимы в далеких амбарах и в укрытых горных долинах, где стада зимовали и кормились.

Под дубами, у коновязи, Форресту не пришлось привязывать Людоедку; выбежал конюх и принял лошадь, а Форрест, лишь наскоро бросив ему несколько слов о какой-то лошади по имени Дадди, зазвенел шпорами по дороге в Большой дом.

Форрест вошел в один из флигелей Большого дома через массивную, окованную железом дверь, выводящую на площадку, которую можно было принять за вход в подземную тюрьму.

Пол был выложен цементом, а многочисленные двери раскрыты. Через одну из них вышел китаец в белом фартуке и накрахмаленном поварском колпаке; из другой доносилось глухое жужжание динамомшины. Форрест остановился, открыл дверь настежь и заглянул в прохладную бетонированную комнату, освещенную электричеством, где стоял длинный стеклянный холодильник со стеклянными полками, а за ним – машина для изготовления искусственного льда и динамомшина. На полу в засаленном рабочем балахоне сидел на корточках маленький человечек, которому хозяин кивнул головой.

– Что, неладно, Томсон? – спросил он.

– Было, – коротко ответил тот.

Форрест запер дверь и пошел по коридору, напоминавшему туннель: узкие отверстия с железными перекладинами, похожие на бойницы средневековых замков, тускло освещали путь. Другая дверь открылась в длинную низкую комнату со сводчатым потолком и камином таких размеров, что в нем можно было бы зажарить целого быка. На углях ярко пылал огромный чурбан; обстановку составляли два бильярдных стола, несколько карточных столов, диваны по углам и миниатюрный бар. Двое молодых людей, натирая мелком кии, ответили на приветствие Форреста.

– Доброе утро, мистер Нэйсмит, – бросил он, – что, набрали еще материал для «Вестника скотовода»?

Нэйсмит, моложавый мужчина лет тридцати, в очках, сконфуженно улыбнулся и с укором посмотрел на своего товарища.

– Меня соблазнил Уэйнрайт, – пояснил он.

– Из чего следует, что Лют и Эрнестина все еще разыгрывают спящих красавиц, – засмеялся Форрест.

Молодой Уэйнрайт не успел отшутиться, как Форрест уже был в дверях, через плечо говоря Нэйсмиту:

– Хотите поехать со мной в половине двенадцатого? Мы с Тэйером отправимся в автомобиле поглядеть на шропширов, ему нужно десять вагонов баранов. Вы наверняка найдете отличный материал для себя. Их вывозят в Айдахо.

Захватите фотоаппарат. Вы видели Тэйера утром?

– Он шел к завтраку, когда мы выходили, – заметил Берт Уэйнрайт.

– Если увидите его, скажите, чтобы он был готовым к половине двенадцатого. Вас я не приглашаю, Берт... из любезности. К тому времени наши барышни уже наверняка поднимутся.

– Риту-то вы, пожалуйста, возьмите с собою, – взмолился Берт.

– Ни в коем случае, – ответил Форрест уже за дверь. – Мы едем по делу, к тому же Риту никакими силами не оторвешь от Эрнестины.

– Вот потому-то я бы и хотел посмотреть, удастся ли это вам, – усмехнулся Берт.

– Странно, как это мужчины не ценят своих собственных сестер, – Форрест остановился. – Мне всегда казалось, что Рита прелестная сестра, а в чем дело, что вы имеете против нее?

Не ожидая ответа, он закрыл за собой дверь, и его шпоры зазвенели по коридору к винтовой лестнице с широкими бетонными ступенями. Поднимаясь по ней, он услышал звуки рояля; играли какой-то танец, слышался смех. Он заглянул в светлую комнату, залитую солнечными лучами. За роялем сидела молодая девушка в розовом кимоно и утреннем чепчике, а две другие в таком же наряде, обнявшись, отплясывали какой-то танец, которому отнюдь не учат в танцевальных школах и который, конечно, не предназначался танцовщицами для глаз мужчин. Девушка за роялем заметила его, подмигнула ему и продолжала играть. Танцующие увидели его позже. Они вскрикнули от ужаса, упали в изнеможении друг другу в объятия, и музыка оборвалась. Все три были прелестными, здоровыми молодыми, и глаза Форреста зажглись тем же огнем, каким горели при виде Принцессы Фозрингтонской. Посыпались шутки.

– Я стою здесь уже пять минут, – заявил Дик Форрест.

Чтобы скрыть смущение, обе танцовщицы решили в этом усомниться и привели множество всем известных примеров его лживости. Сидевшая за роялем его невестка, Эрнестина, настаивала на том, что с уст Форреста льются чистые жемчужины правды и что она заметила его с того самого момента, как он вошел, и что по ее расчетам он уже находится в комнате больше пяти минут.

– Как бы то ни было, – прервал Форрест их болтовню, – невинный младенец Берт думает, что вы еще спите.

– Да... для него мы спим, – возразила одна из танцовщиц, живая и хорошенькая девушка, – поэтому и вы, молодой человек, проходите, проходите.

– Послушайте, Лют, – строго начал Форрест. – Из того, что я дряхлый старик, а вам восемнадцать лет, всего только восемнадцать, и вы оказались сестрой моей жены, вовсе не следует, что вы должны передо мной так важничать. Не забывайте, – и я хочу это установить ради Риты, как бы вам ни было неприятно, – что за последние десять лет я вас выручал из стольких позорных ситуаций, что вам, пожалуй, станет стыдно, если я тут же их перечислю. Правда, я не так молод, как когда-то, – тут он многозначительно пощупал мышцы правой руки и сделал вид, что собирается засучить рукава, – но я еще... и за два цента...

– Что? – воинственно подзадоривала его девушка.

– За два цента, – пробормотал он с мрачным видом, – за два цента. Да, знаете, мне очень неприятно вам об этом говорить, но ваш чепец сидит очень криво. К тому же никак нельзя утверждать, что он сделан со вкусом. Уверяю вас, что я во сне одними только пальцами ног сумею соорудить что-нибудь лучшее; уверяю вас, и даже морская болезнь мне не помешает...

Лют задорно качнула белокурой головкой, мельком оглядела подруг, ища в них участия и поддержки, и вскричала:

– Что же это такое, разве мы, три женщины, не сумеем разделаться с этим старым толстяком? Что вы на это скажете? Все разом на него, ведь ему не меньше сорока лет. Хотя я не люблю разглашать семейные тайны, но должна сознаться, что он страдает болезнью Меньера[1 - Меньера болезнь заключается

в приступах головокружения и глухоты вследствие изменений в лабиринте уха.].

Эрнестина, маленькая, но ловкая блондинка лет восемнадцати, отскочила от рояля и подбежала к подругам. Они схватили подушки с глубоких кресел, стоящих у окна, и сомкнутым строем, держа в каждой руке по подушке и соблюдая между собой должное расстояние, стали надвигаться на врага.

Форрест приготовился к бою, но внезапно поднял руку для переговоров.

– Бойтся! Трус! – издевались они над ним, сначала поодиночке, а потом хором.

Он покачал головой.

– За это и вообще за дерзости все вы трое будете наказаны, как полагается. Я внезапно вспомнил все, чем из-за вас перестрадал. Еще минута – и я стану лютым. Но сначала я буду говорить, как сельский хозяин: скажите мне, ради всего святого, что такое болезнь Меньера? Что, овцы заражаются ею?

– Болезнь Меньера, – начала Лют, – это то, чем вы страдаете, вообще же на свете этой болезнью заражаются только овцы.

Тут-то и началась настоящая война. Форрест использовал футбольный маневр, известный в Калифорнии еще до того, как он был принят в регби; а девушки дали ему развить свою линию, пропустили его в тыл, но затем повернулись и стали колотить подушками. Он пошел на них с широко раскрытыми руками, вытянутыми и скрюченными пальцами, которыми и вцепился во всех трех сразу. Вокруг вооруженного шпорами человека поднялся вихрь; его покрывали волны легкого шелка, летели туфли, чепцы и шпильки, подушки; слышалось рычание атакуемого, визги, крики и хохот девушек, и, наконец, все сражение покрылось нескончаемым хохотом и треском раздираемой шелковой ткани.

Дик Форрест очутился распластным на полу, голова отяжелела от ловко брошенных в него подушек, в одной руке у него волочился длинный, измятый и изорванный голубой пояс с вышитыми по нему бледными розами. У одной из дверей с разгоревшимися в сражении щеками, насторожившись, как лань, и готовая бежать, стояла Рита; другую дверь заняла Эрнестина; разгорячившаяся, в повелительной позе матери Гракхов, она стыдливо завернулась в жалкие остатки своего кимоно и одной рукой придерживала его. Лют, загнанная за

рояль, пыталась бежать, но остановилась, испуганная угрозой Форреста, который, стоя на четвереньках, хлопал ладонями о пол, дико мотал головой и рычал, как разъяренный бык.

– А люди все еще верят старому доисторическому мифу, – возвестила Эрнестина из своего укромного уголка, – будто когда-то это жалкое подобие мужчины, ныне повергнутое в прах, стоя во главе футбольной команды Беркли, победило Стэнфорд.

Но она задыхалась от усталости, и Форрест с особенным восхищением отметил, как шевелится на ней прозрачный вишневый шелк, а затем перевел взгляд на других девушек, которые тоже не могли отдышаться.

Рояль был типа «миниатюр» – изящное сочетание белой эмали и золота, в тон всей веселой комнате. Он стоял вдали от стены, так что Льют вполне могла обежать его с другой стороны. Форрест вскочил на ноги и стал перед нею за широкой плоской крышкой. Он приготовился прыгнуть через нее, но Льют вскричала в ужасе:

– Но шпоры, Дик! На вас шпоры!

– Дайте мне снять их, – предложил он.

Но пока он наклонялся, чтобы расстегнуть их, Льют собралась прошмыгнуть, однако была немедленно водворена в свое убежище.

– Отлично, – пробормотал он. – Во всем этом будете виноваты вы! Если на рояле появятся царапины, я все скажу Паоле.

– У меня есть свидетели, – бросила она, призывая своими голубыми смеющимися глазами стоящих у дверей подруг.

– Прекрасно, моя милая, – Форрест отступил и одним уверенным жестом оперся ладонями о крышку рояля. – Иду на вас!

За делом не стало. Он перепрыгнул, опираясь на руки, но, прыгая, так перебросил тело в сторону, что страшные шпоры промелькнули на добрый фут

выше блестящей белой поверхности. В один момент Лют нырнула под рояль, чтобы на четвереньках проползти под ним. Но, к своему несчастью, она стукнулась головой, и, прежде чем ей удалось прийти в себя, Форрест загнал ее обратно под рояль.

- Выходите, - приказал он, - выходите получить ваше наказание!

- Перемирие, - взмолилась она. - Перемирие, славный рыцарь, во имя вашей возлюбленной и всех угнетенных дев.

- Я не рыцарь, я людоед, - провозгласил Форрест густым басом. - Я людоед, грязный, мерзкий и совершенно падший во грехе людоед. Я родился в болотах. Отец мой был людоед, а мать еще хуже. Меня убаюкивали воплями умерших и проклятых младенцев. Я вскормлен исключительно на крови юных девушек, воспитанных в благородном пансионе. Рестораном мне всегда служил деревянный пол, а обедом добрый кусок ученицы благородного пансиона и кровлей - крышка рояля. Отец мой был не только людоедом, но и калифорнийским конокрадом, а на мне еще больше преступлений, чем на отце. У меня больше зубов. Моя мать тоже людоедка, но ее позор был много хуже: она еще всегда подписывалась на дамские журналы, но я ужаснее матери.

- Неужели нельзя смягчить ваше свирепое сердце? - взмолилась Лют нежным голосом, высматривая, как бы ей улизнуть.

- Для этого существует только одно средство, жалкая женщина. Только одно, на земле, над землей и под быстрыми волнами.

Эрнестина перебила его, сразу отметив плагиат.

- Смотри: Эрнст Досон, страница семьдесят пять, тоненькая книжка жидких стихов, смешанных с кашей, которой кормят барышень, томящихся в благородном пансионе, - продолжал Форрест. - Как я уже имел честь говорить, пока меня не перебили с такой грубостью, одно только, и только одно способно влить успокоение в это бурное сердце, это - «Молитва девы». Слушайте во все уши, пока я их вам еще не отрезал, слушайте, глупая, очень некрасивая, маленькая коротконогая женщина под роялем, сможете вы прочитать «Молитву девы»?

Радостные возгласы со стороны дверей не дали ответить, а Лют из-под рояля закричала внезапно подошедшему молодому Уэйнрайту:

- Выручите, благородный рыцарь! Спасите!

- Отпусти девицу! - приказал Берт.

- Кто ты? - спросил Форрест.

- Король Джордж, черт побери, то есть, я хочу сказать, святой Георгий.

- В таком случае я твой дракон, - заявил Форрест с должным смирением. - Пожалей мою древнюю, благородную и единственную шею.

- Голову долой, - поощряли девушки.

- Остановитесь, девы, прошу вас, - уговаривал их Берт. - Я мелкая сошка, но все же не боюсь. Я справлюсь с драконом. Я воткну ему в глотку копье, и, пока он задыхается, переваривая всю поеденную им человечину, вы, прекрасные девы, бегите в горы, дабы не обрушились на вас долины. Йоло, Петалума и Западное Сакраменто будут скоро наводнены сильным приливом с большими рыбами.

- Голову долой, - кричали девушки, - утопи его в крови, зажарь его целиком!

- Конечно, - простонал Форрест, - я погиб; вот и полагайся на бесконечное милосердие христианских девушек, живших в 1914 году, к тому же еще получающих политические права, когда вырастут, разве только не выйдут замуж за иностранцев. Пропала моя голова, святой Георгий, я умер, все кончено!

И с громкими рыданиями и всхлипываниями, необыкновенно натурально корчась и звеня шпорами, Форрест скончался.

Лют выползла из-под рояля. И вместе с Ритой и Эрнестиной исполнила импровизированный триумфальный танец над павшим. Но среди танца Форрест вдруг сел и, многозначительно подмигнув Лют, стал громко протестовать:

- Героя-то! - закричал он. - Вы забыли увенчать его цветами.

И Берта украсили цветами из ваз, где вода еще не сменялась со вчерашнего дня. Когда пучок размякших в воде стеблей молодых тюльпанов, воткнутый ему за ухо сильной рукой Лют, залил ему шею, он сорвался и побежал, преследуемый девушками. Шум буйной погони гулко разнесся по коридору, замирая на лестнице у бильярдной. Между тем Форрест оправился и, весело улыбаясь и звеня шпорами, пошел дальше своей дорогой к Большому дому. Пройдя через два внутренних двора, вымощенных кирпичом, крытых испанской черепицей и утопающих в роскошных весенних листьях и цветах, он вошел в свой флигель, все еще тяжело дыша после возни, и застал там поджидавшего его секретаря.

– Доброе утро, мистер Блэйк, – поздоровался он с ним. – Простите, меня задержали. – Он взглянул на часы. – Впрочем, только на четыре минуты. Раньше никак нельзя было вырваться.

Глава IV

От девяти до десяти Форрест с секретарем занимались перепиской со всевозможными корреспондентами, с целым рядом ученых обществ и самыми разнообразными сельскохозяйственными учреждениями. За это время он успевал сделать столько, сколько заурядный деловой человек, не умеющий пользоваться помощью подчиненных, не сделал бы до полуночи.

Дик Форрест стоял в центре целой системы, созданной им самим, которой он втайне очень гордился. Важные письма и документы он подписывал сам; на остальных документах печать ставил мистер Блэйк; он же в течение всего часа стенографировал лаконические решения патрона в ответ на многие письма. Мистер Блэйк был убежден, что он лично работает много больше хозяина, и думал, что патрон замечательно ловко придумывает работу, которую должны выполнять другие.

Ровно в десять часов в контору вошел Питтмен, ответственный за выставки скота, и Блэйк, нагруженный подносами с письмами, документами и фонографами, проскользнул в свою контору. С десяти до одиннадцати в комнату приходили управляющие и инспектора. Все они были строго приучены говорить кратко и экономить время и прекрасно отдавали себе отчет в необходимости

четко излагать свои мысли. Дик Форрест внушил им, что минуты, уделяемые им, не предназначены для размышления. Они должны были подготовиться, прежде чем делать доклад или выступить с предложением. Помощник секретаря Бонбрайт, в десять часов всегда сменявший Блэйка, быстро записывал все вопросы и ответы, фактические данные, предложения и планы. Эти стенографические записи, впоследствии расшифрованные и перепечатанные на машинке в двух экземплярах, были кошмаром, а иногда и Немезидой управляющих и инспекторов. У Форреста была великолепная память, кроме того, он часто подтверждал правильность своих воспоминаний, ссылаясь на записи Бонбрайта.

Часто случалось, что после пяти- или десятиминутной беседы какой-нибудь управляющий выходил из конторы весь в поту, совершенно разбитый и изнуренный. Форрест в течение всего этого часа напряженной работы обращался со всеми посетителями учтиво, но твердо, входя в детали всех отраслей хозяйства. Механику Томпсону он за какие-то четыре минуты ясно показал, в чем недостаток работы динамомшины, приводящей холодильник Большого дома в движение, обвинив в этом самого Томпсона. Затем заставил Бонбрайта записать номер главы и страницу книги, которую поручил Томпсону достать в библиотеке, тут же заявив Томпсону, что Паркмен, заведующий молочным хозяйством, недоволен последним ремонтом доильных машин и что холодильник на бойне неисправен. Каждый из служащих Форреста был специалистом, сам же он знал всё. Полсон, агроном, ответственный за пахоту, жаловался Досону, ответственному за сбор урожая:

– Я здесь проработал двенадцать лет и ни разу не видел, чтобы он пахал, а, между тем, черт его побери, он дело знает. Он гений, вот что! Знаете, раз как-то я видел, как он промчался мимо пахарей, весь занятый своей страшной Людоедкой, явно опасаясь худшего, а на следующее утро вдруг назвал, на сколько в том месте вспахана земля, и ошибся только на полдюйма, и знал, какими плугами мы пахали... Вы возьмите, как пахали Маков Луг, над Маленьким Лугом, на Лос-Кватос, я не знал, как подступиться, и надумал обойтись так, чтобы в одну сторону пропахать, а поперек – нет. Когда все было кончено, он уж тут как тут. Ну и что же? На следующее утро мне не поздоровилось! Больше я его не пытался провести.

Ровно в одиннадцать часов Уордмен, заведующий овцеводством, вышел от Форреста с поручением поехать в одиннадцать часов тридцать минут в автомобиле с Тэйером, покупателем из штата Айдахо, на смотр шропширских

баранов. Бонбрайт вышел вместе с Уордменом, чтобы расшифровать свои записи, и Форрест остался в конторе один. Он вынул из плоской проволочной корзины, наполненной еще не просмотренными бумагами, – таких корзинок в конторе было множество, – брошюру, изданную штатом Айова о свиной холере, и стал ее просматривать.

В свои сорок лет Дик Форрест обладал выдающейся внешностью: рост – пять футов десять дюймов, с сильными мускулами, вес 180 фунтов, серые, очень большие глаза, с густыми нависшими бровями и темными ресницами. Лоб средний, светло-каштановые волосы, высокие скулы с характерными впалыми щеками, сильные, но в меру развитые челюсти, нос с широкими ноздрями, прямой и довольно мясистый. Подбородок крутой, но не тяжелый, мягкий и нежный рот, при этом с известной твердостью губ. Кожа на лице загорелая и ровная.

В углах рта и в глазах светился смех, а над ртом проходили морщинки, появившиеся от частого смеха. Вместе с тем черты его лица говорили о силе и уверенности. Дик Форрест действительно был в себе уверен: уверен, что когда он рукой ищет что-либо у себя на письменном столе, то рука немедленно коснется именно нужной вещи, не отступив ни на дюйм; уверен, что если он вдумывается в трудные места текста о свиной холере, то все абсолютно поймет; уверен как в своем сильном теле, так и в своем уравновешенном уме; уверен в своем сердце, в своей жизни и работе, во всем, чем обладал, и в себе самом.

Он имел все основания для такой уверенности. Физическая сила, мозг и карьера выдержали испытание. Сын богатого человека, он не промотал отцовских денег. Рожденный и воспитанный в городе, он вернулся к земле и достиг там таких успехов, что имя его теперь появилось на устах всех скотоводов, где бы они ни встретились, чтобы поговорить о делах. Он был владельцем двухсот пятидесяти тысяч акров земли, ценностью от тысячи долларов за акр до ста долларов и от ста долларов до десяти центов, а также и такой, что местами не стоила и пенни за акр. На эксплуатацию этой четверти миллиона акров, от дренированных лугов до осушенных землечерпательными машинами болот, от проведения дорог до оросительной системы с распределением прав на воду за известную плату, от ферм до самого Большого дома, уходили совершенно чудовищные деньги.

Все в его хозяйстве, вплоть до последней часовой стрелки, было поставлено на широкую ногу и отвечало современным достижениям науки. Его управляющие жили на его земле, не платя никаких налогов, и получали оклады сообразно

своим знаниям; они жили в домах, стоивших от пяти до десяти тысяч долларов, но все это были лучшие специалисты, приглашенные со всего континента, от Атлантического до Тихого океана. Если он заказывал газолиновые тракторы для обработки равнин, то заказывал их сразу целыми десятками; когда он запруживал воду у себя в горах, то сразу запруживал не менее ста миллионов галлонов; когда осушал болота, то вместо того, чтобы заключить договор на землечерпательные работы с подрядчиком, сам покупал огромные землечерпалки, а когда работа на его собственных болотах заканчивалась, брал и подряды на осушение болот у соседей, крупных фермеров, земельных обществ на сто миль вверх и вниз по реке Сакраменто.

Голова у него работала так ясно, что он всегда отдавал себе полный отчет в необходимости покупать чужие умы и платить за лучшие из них много выше средней рыночной цены. А его ума, конечно, хватало, чтобы использовать как следует всех в своих интересах.

Ему было всего сорок лет, зрение его было остро, сердце билось ровно, пульс работал четко; он был человеком во всех отношениях сильным. И все же, пока ему не исполнилось тридцати лет, жизнь его протекала сумасбродно и беспорядочно. В тринадцать лет он убежал из родного дома. Но ему еще не было двадцати одного года, когда он окончил университет, после чего посетил гавани всех морей света и хладнокровно, от всей души, с веселым смехом шел навстречу всевозможным опасностям и рисковал жизнью во всех необыкновенных приключениях, какими изобилвала свободная жизнь, на его глазах подпадавшая под суровое воздействие закона.

В прежние времена в Сан-Франциско с именем Форреста считались. Родовой дом Форрестов был одним из первых дворцов, выстроенных на холме Ноб местными богачами-пионерами: Флудами, Маккейнами, Крокерами и О'Брайенами. «Счастливчик» Ричард Форрест, отец, прибыл в Калифорнию из Новой Англии; он был человеком с ярко выраженными коммерческими способностями, в ранние годы интересовавшийся только клиперами и строительством новых клиперов, но немедленно по переселении занявшийся скупкой земли по морскому побережью, речным судоходством и рудниками, а впоследствии осушением болот и проведением Южно-Тихоокеанской железной дороги.

Он вел большую игру, крупно выигрывал и крупно терял; но его выигрыши всегда оказывались больше проигрышей, и все, что он терял, играя в одну какую-нибудь игру, он возвращал себе в другой игре. Все заработанное в

Комстоке он спустил в дыры бездонного фонда компании Даффодил в графстве Эльдорадо. Все спасенное от катастроф на линии Бениш он использовал в акционерном обществе Напа, то есть в ртутном месторождении, и оно дало ему пять тысяч прибыли. А все потерянное при банкротстве Стоктонских морских укреплений он с избытком вернул в Сакраменто и Окленде.

В довершение всего, в то самое время, когда Счастличик Ричард Форрест потерял все, что имел после целого ряда катастроф и обанкротился в такой мере, что весь Сан-Франциско обсуждал вопрос о том, сколько принесет на аукционе его дворец на Нобском холме, он убедил некоего Дела Нелсона затеять большое дело в Мексике. История свидетельствует о том, что предварительные работы этого самого Дела Нелсона по поискам кварца положили основание для эксплуатации всех залежей Харвест, с легендарными и неистощимыми богатствами его рудников. Потрясенный этими удачами, Дел Нелсон успел за год угробить себя поглощением безмерного количества дешевого виски и, не имея родных, оставил неоспоримое завещание в пользу Счастличика – Ричарда Форреста.

Дик Форрест был единственным сыном Счастличика. Человек колоссальной энергии и предприимчивости, Ричард Форрест от первых двух браков детей не имел. Похоронив вторую жену, он в 1872 году женился в третий раз, когда ему было уже пятьдесят восемь лет, а в 1874 году умерла и эта жена, родив ему здорового крепыша в двенадцать фунтов весом, выросшего на Нобском холме, во дворце, под попечением целого полчища нянек.

Маленький Дик развивался очень быстро. Счастличик Ричард был демократом. Дик за год прошел с домашним учителем все, чему в школах учат три года, а выигранное время он проводил на воздухе. Поэтому ввиду раннего развития сына и демократических взглядов отца Дик был отдан в народную школу, чтобы приучиться общаться с сыновьями и дочерьми рабочих, лавочников, трактирщиков и политических деятелей.

Когда учителя вызывали его в классе или устраивали состязания по правописанию, то все отцовские миллионы не помогали ему победить гениального математика Пэтси Хэллорэна, сына простого каменщика, или Мону Санвинетти, писавшую диктанты так хорошо, что ее талант объясняли исключительно колдовством; всем было при этом известно, что ее мать – вдова, владелица всего лишь зеленой лавочки. Отцовские миллионы и дворец на Нобском холме нисколько не помогли мальчику и тогда, когда, сбросив куртку и

ботинки, не соблюдая никаких правил, он бил и был бит, дрался поочередно с Джимми Батсом, Джаном Шоинским и кучей других мальчишек, которые несколько лет спустя уже странствовали по белу свету, пожиная лавры в качестве боксеров, каких породил один только Сан-Франциско, когда в нем еще бродила нетронутая, здоровая и молодая сила.

Этим демократизмом Счастличик Ричард сослужил сыну хорошую службу. В тайниках души Дик ни на минуту не забывал, что он живет во дворце, обслуживаемом многочисленными слугами, и что отец его – человек, пользующийся большим влиянием и большим почетом; но, с другой стороны, Дик познал также и силу демократии и людей, стоящих не менее твердо, чем он, на двух ногах и орудующих своими кулаками. Все это он понял, когда Мона Санвинетти заняла первое место в классе, потому что делала меньше ошибок, чем он, и когда Берни Миллер победил его на состязании в беге.

А когда Тим Хэгэн оставил его на поле битвы с окровавленным носом, разорванной губой и дыханием, вырывавшимся у него из разбитой груди со свистом и стоном, тут опять-таки нечего было ждать поддержки из дворца или из чековых книжек. Крепко удерживаясь на своих двух ногах и действуя обоими кулаками, он знал, что теперь или он, или Тим. И именно здесь, в поту и крови, молодой Дик научился не проигрывать битвы, на первый взгляд, безнадежной. Положение было тяжкое с самого начала, но он выдержал до конца и добился общего признания, что силы противников равны. Но решение это было принято, когда оба лежали на земле почти без чувств, изможденные, с глазами, полными слез от злости и ненависти друг к другу. А затем противники подружились и вместе царили в школьном дворе.

Счастличик Ричард умер в месяц окончания Диком народной школы. Дику было тогда тринадцать лет. У него было двадцать миллионов долларов и ни одного родственника, имеющего право причинять ему неприятности. Он был владельцем целого дворца, паровой яхты, конюшен и летней виллы на юге полуострова, в колонии набобов в Мэнло. Только с одним осложнением ему пришлось столкнуться – с опекунами. Впервые в прекрасный летний день он пришел к ним на совещание в громадный отцовский кабинет. Их было трое; все они были людьми пожилыми, состоятельными, компаньонами его отца. Слушая их разъяснения, Дик пришел к заключению, что хотя они и желают ему только добра, он все же с ними не сговорится. Он тут же рассудил, что они для него слишком стары. Кроме того, ему стало совершенно ясно, что его-то, того именно мальчика, судьбой которого они так озабочены, они не понимают. Наконец, со

свойственной ему категоричностью, он решил, что только ему самому лучше знать, что для него хорошо.

Мистер Крокетт произнес длинную речь, прослушанную им с настороженным и вежливым вниманием, кивая головой, когда говоривший обращался непосредственно к нему. Мистер Дэвидсон и мистер Слокум также говорили и были выслушаны не менее почтительно. Между прочим, Дик узнал, каким цельным и честным человеком был его отец, и познакомился с программой, составленной этими тремя джентльменами для того, чтобы сделать из него, Дика, такого же прекрасного человека.

Когда они кончили, Дик, в свою очередь, попросил слова.

– Я все обдумал, – заявил он, – и прежде всего я отправлюсь путешествовать.

– Это все придет в свое время, дружок, – ласково пояснил мистер Слокум. – Когда, – ну скажем, – вы будете готовы к поступлению в университет, тогда один год за границей был бы очень полезен.

– Разумеется, – сейчас же вмешался мистер Дэвидсон, уловивший вспыхнувшую в глазах мальчика искру неудовольствия и то, как он невольно сжал губы, – конечно, вы и до тех пор будете совершать небольшие поездки во время каникул. Я уверен, и мои товарищи согласятся, что – при надлежащей осторожности и надзоре – такие экскурсии могут даже оказаться весьма благотворными.

– Сколько, вы сказали, у меня денег? – спросил Дик довольно неожиданно.

– Двадцать миллионов по самому умеренному счету, то есть приблизительно двадцать, – быстро ответил мистер Крокетт.

– А что, если бы я сейчас сказал, что мне нужны сто долларов? – продолжал Дик.

– То есть как же, – так, гм... – запнулся мистер Слокум и взглянул на товарищей.

– Мы спросили бы вас, на что они вам нужны, – ответил мистер Крокетт.

– А что, – очень медленно проговорил Дик, глядя мистеру Крокетту прямо в глаза, – если бы я вам ответил, что, к сожалению, я не хочу этого объяснять.

– В таком случае вы бы их не получили, – ответил мистер Крокетт так поспешно, что в его словах послышалась некоторая доля резкости, точно он выстрелил своими словами.

Дик медленно склонил голову, как бы давая этим словам глубже запасть в свое сознание.

– Но ведь, друг мой, – торопливо вмешался мистер Слокум, – вы, конечно, понимаете, что вы слишком молоды, чтобы тратить деньги бесконтрольно. Распоряжаться ими для вас должны мы.

– Вы хотите сказать, что без вашего разрешения я и одним пенни пользоваться не могу?

– Ни одним пенни, – отрезал мистер Крокетт.

Дик задумчиво кивнул головой и пробурчал:

– Да, понимаю.

– Конечно, само собой разумеется, у вас будут карманные деньги, – сказал мистер Дэвидсон. – Ну, скажем, доллар или два доллара в неделю, а когда вы подрастете, они будут все увеличиваться, так что к тому времени, когда вам будет двадцать один год, вы безусловно будете вполне в состоянии, конечно, при некотором руководстве, самостоятельно распоряжаться своими деньгами.

– А до тех пор, пока мне не будет двадцати одного года, я со своими двадцатью миллионами не могу получить себе и сотни долларов, чтобы распорядиться ими по-своему? – смиренно спросил Дик.

Мистер Дэвидсон хотел смягчить ответ, но Дик прервал его и продолжал.

– Насколько я понимаю, я не могу тратить денег, не получив на то вашего общего согласия?

Опекуны все трое утвердительно кивнули.

- Значит, что мы вчетвером решим, то и войдет в силу?

Опекуны снова подтвердили.

- Так вот, я хотел бы сейчас получить сто долларов, - заявил Дик.

- На что? - спросил мистер Крокетт.

- Это я могу вам сказать, - ответил мальчик твердо. - Чтобы путешествовать.

- Вы пропутешествуете в постель сегодня вечером в половине девятого, - резко возразил мистер Крокетт, - и никаких ста долларов вы не получите. Дама, о которой мы вам уже говорили, приедет сюда к шести часам. Вам известно, что вы будете на ее ежедневном и, если так выразиться, ежечасном попечении. В половине седьмого вы, как всегда, будете обедать; она будет есть с вами и следить за тем, чтобы в положенный час вы ложились спать. Мы уже говорили вам, что она заменит вам мать: она будет наблюдать за тем, чтобы ваши уши были чистые, шея вымыта.

- И чтобы в субботу вечером я принимал ванну, - с преувеличенной скромностью закончил за него Дик.

- Вот именно.

- Сколько же вы, то есть сколько же я плачу этой даме за ее услуги? - спросил Дик озадачивающим, сдержанным тоном, вошедшим у него в привычку и испытанным на себе его школьными товарищами и учителями.

Тут мистер Крокетт впервые откашлялся, прежде чем ответить.

- Ведь я ей плачу, не правда ли, - настаивал Дик, - из тех самых двадцати миллионов?

- Он - в отца, - заметил про себя мистер Слокум.

– Миссис Соммерстон, или, как вы ее называете, «эта дама», получает сто пятьдесят долларов в месяц, то есть тысячу восемьсот в год, – сказал мистер Крокетт.

– Это выброшенные деньги, – вздохнул Дик. – И к тому же при полном пансионе.

Он поднялся со своего стула, этот тринадцатилетний аристократ – аристократ не по рождению, не по наследству, а по воспитанию во дворце на Нобском холме. Он был в эту минуту так горд и высокомерен, что его опекуны тоже невольно поднялись со своих кожаных кресел. Но он не напоминал маленького лорда Фаунтлероя; здесь все обстояло сложнее. Он знал, что жизнь человеческая многолика. Недаром на первом месте оказалась Мона Санвинетти. Недаром он дрался с Тимом Хэгэном, пока не разделил с ним власти над школьным двором. Рожденный отцом, пережившим бешеную золотую лихорадку сорок девятого года, он был подлинным аристократом и вместе с тем демократом, прошедшим народную школу. Своим молодым, еще незрелым умом он уже постиг разницу между знатью и простонародьем; он обладал громадной силой воли и спокойной уверенностью в себе, совершенно непонятной трем пожилым джентльменам, в руки которых была отдана его судьба и которые обязались увеличить число его миллионов, а из него самого сделать порядочного человека по своему образу и подобию.

– Благодарю вас за доброту, – сказал Дик, обращаясь ко всем троим. – Надеюсь, мы как-нибудь уживемся. Разумеется, эти двадцать миллионов принадлежат мне и, конечно, вы обязаны сохранить их для меня, так как я в делах ничего не смыслю.

– Они в наших руках еще вырастут, дружок. Они будут целы, мы их поместим в благонадежные солидные бумаги, – заверял его мистер Слокум.

– Но только, пожалуйста, без спекуляций, – наказал Дик. – Папе везло, но я слышал, он говорил, что теперь времена изменились и что сейчас нельзя уже рисковать, как прежде.

Из всего этого можно, пожалуй, ошибочно решить, что у Дика подленькая и алчная душа. На самом же деле он в эту самую минуту погрузился в мечты и планы, столь же далекие и чуждые этим двадцати миллионам, как мысли пьяного матроса, швыряющего на берег свое жалованье за три года.

– Я ведь только мальчик, – продолжал Дик. – Но вы меня еще не совсем узнали. Со временем мы лучше познакомимся, а пока еще раз благодарю вас...

Он замолчал и с достоинством, которому рано научаются хозяева дворцов на Нобском холме, коротко поклонился, давая понять, что аудиенция кончена. Все это не ускользнуло от его опекунов, и они, товарищи его отца, удалились, сконфуженные и озадаченные. Дэвидсон и Слокум, спускаясь с массивной лестницы к поджидавшей их коляске, готовы были дать волю гневу, но мистер Крокетт, самый задорный и резкий из них, бормотал с восхищением: «Это его сын! Его сын!»

Они поехали в знаменитый клуб Пассифик-Юнион, где просидели целый час, серьезно обсуждая будущность Дика, обещая себе быть достойными доверия, возложенного на них Счастливым Ричардом Форрестом.

Между тем сам герой их спешно спускался с холма по обросшим травой тропкам, слишком крутым для верховой езды. За районом, занятым дворцами и обширными садами набобов, пошли невзрачные улочки с деревянными бедными домишками. В 1887 году в Сан-Франциско, как в старинных европейских городах, чередовались дворцы и трущобы, и Нобский холм высился, точно средневековый замок, над уютившейся у его подножия беднотой.

Дик остановился у угловой зеленой лавки, второй этаж которой снимал Тимоти Хэгэн Старший; в качестве полисмена со ста долларами в месяц он мог себе позволить жить выше своих сограждан, содержащих семью на скудные сорок-пятьдесят долларов в месяц. Но тщетно Дик свистел в раскрытые окна. Тима Хэгэна Младшего не было дома. Дик уже перебирал разные места по соседству, где бы мог быть в данный момент его приятель, как вдруг из-за угла появился сам Тим, бережно несущий жестянку из-под свиного сала, наполненную пенящимся пивом. Он что-то пробурчал в знак приветствия, на что Дик ответил ему в тон, будто не он еще так недавно закончил прием трех богатейших тузов богатейшего города. Сознание, что он обладает двадцатью миллионами, непрерывно растущими, не сквозило в его голосе и нисколько не ослабило внешней грубости его приветствия.

– Тебя не видно со смерти твоего старика, – заметил Тим.

– Зато теперь видишь, – грубо бросил Дик. – Вот что, Тим, я к тебе по делу.

- погоди, вот снесу пиво моему старику, - опытным глазом осматривая состояние пены на жестянке с пивом, ответил Тим, - а то он разорется на всю улицу, если ему подать без пены.

- Да ты встряхни, вот тебе и пена, - посоветовал Дик. - Мне на минутку только. Я сегодня ночью удираю, хочешь со мной?

Маленькие голубые ирландские глаза Тима загорелись.

- Куда? - спросил он.

- Не знаю. Хочешь со мной? Если да, мы это обсудим по дороге. Что скажешь?

- С меня старик всю шкуру сдерет, - заколебался Тим.

- Это тебе не впервой, а она на тебе, я вижу, все еще цела, - ответил Дик сухо. - Соглашайся, и мы встретимся сегодня вечером в девять часов у паррома. Ну что, согласен?

- А что, если я не приду? - спросил Тим.

- Я все равно уйду один.

Дик повернулся, как бы собираясь уходить, но остановился и небрежно, через плечо сказал:

- Ты лучше обдумай.

Тим встряхнул пиво и ответил так же небрежно:

- Ладно, приду.

Расставшись с Тимом Хэгэном, Дик посвятил остальные часы розыску некоего Марковича, своего школьного товарища, славянина, отец которого содержал ресторан с лучшими в городе обедами по двадцати центов. Младший Маркович был должен Дику два доллара. Дик получил от него сорок центов, а остальное

простил.

Затем, не без робости и смущения, Дик прошелся по улице Монтгомери и долго колебался, выбирая ломбард среди украшавших ее заведений такого рода. Наконец он с отчаянной решимостью нырнул в первый попавшийся и обменял за восемь долларов и квитанцию свои золотые часы, стоившие, как ему было известно, не меньше пятидесяти.

Обед во дворце на Нобском холме подавался в половине седьмого. Дик пришел в три четверти седьмого. Его встретила миссис Соммерстон. Это была полная, уже немолодая, выдавшая лучшие времена дама из семьи знаменитых Портер-Рингтонов, финансовый крах которых поразил все Тихоокеанское побережье. Несмотря на свою полноту, она страдала от так называемого ею «расстройства нервов».

– Так нельзя, Ричард, никак нельзя, – пожурила она его, – обед готов уже четверть часа тому назад, а вы еще даже не умылись.

– Простите, миссис Соммерстон, – извинился Дик. – Я уже никогда больше не заставлю вас ждать. Да и вообще я никогда не буду вас беспокоить.

Обедали они вдвоем, очень церемонно, в большой столовой. Дик старался занимать даму, потому что, несмотря на то, что она у него на службе, она все же была его гостьей.

– Вам здесь будет очень удобно, – утешал он ее, – как только вы устроитесь. Дом отличный, и большинство слуг здесь подолгу служит.

– Но позвольте, Ричард, – улыбнулась она ему, – мое самочувствие будет зависеть не от прислуги, а от вас.

– Я постараюсь, – ответил он любезно. – Скажу больше: мне очень неприятно, что я опоздал к обеду. Пройдут долгие годы, но этого не повторится. Я вас беспокоить не буду, вот увидите. Меня будто и не будет в доме.

Прощаясь с нею на ночь, он добавил, как бы что-то вспомнив:

– Об одном я вас предупреждаю: О-Чай, повар, он уже у нас так долго, что я и не знаю, лет двадцать или тридцать. Он готовил для отца еще задолго до того, как был построен этот дом. Меня еще на свете не было. Он у нас на особом положении. Он так привык все делать по-своему, что вам придется обращаться с ним крайне осторожно. Но если он вас полюбит, то и головы дурацкой своей не пожалеет, чтобы угодить вам. Меня он очень любит. Вы сделайте так, чтобы он и вас полюбил, и вам здесь будет чудесно. А я даю слово, что не буду причинять вам никакого беспокойства.

Глава V

Ровно в девять часов вечера, секунда в секунду, Дик Форрест, одетый в самое старое свое платье, встретил Тима Хэгэна у парома.

– К северу идти не стоит, – заметил Тим, – придет зима, и спать будет холодно. Хочешь на восток – это, значит, Невада и пустыни.

– А нельзя ли куда-то еще? – спросил Дик. – Как насчет юга? Пойдем на Лос-Анджелес, Аризону, Новую Мексику, ну и, пожалуй, в Техас?

– А сколько у тебя денег? – спросил Тим.

– А тебе зачем? – осведомился Дик.

– Нам придется убраться поскорее, а за это для начала надо уплатить. Мне что? Но для тебя это важно: твои опекуны поднимут тревогу. Они наймут сыщиков, а нам придется от них смываться.

– Так мы их проведем, – заявил Дик. – Первые два-три дня мы станем петлять, как зайцы, то вправо, то влево, и большую часть времени будем прятаться, пока не доберемся до Трэйси. А потом перестанем платить и повернем к югу.

Программу эту они выполнили в точности. Через Трэйси они проехали как платные пассажиры через шесть часов после того, как местная полиция перестала обыскивать местные поезда. Для большей осторожности Дик уплатил

до станции, лежащей за Трэйси, до Модесто, а затем, под руководством Тима, они уже путешествовали бесплатно в багажных вагонах и даже на предохранительных сетках. Дик покупал газеты и пугал Тима, читая ему сенсационные сообщения о похищении маленького наследника миллионов Форреста. А в Сан-Франциско опекуны объявили награду в тридцать тысяч долларов за розыск их питомца. И Тим Хэгэн, зачитываясь этими сообщениями, лежа в траве у ручейка, заставил Дика запомнить, что чувство неподкупной чести свойственно не одним только обитателям дворцов на холме, но и бедных лачуг.

– Черт возьми, – обращался Тим к расстилавшемуся перед ним пейзажу. – Вот бы разорался мой старик, если бы я тебя выдал за эти тридцать тысяч, подумать и то страшно.

Из того, что Тим просто и открыто заговорил об этом, Дик заключил, что сын полисмена ни в коем случае не предаст его.

Но сам Дик завел разговор об этом только через шесть недель, в Аризоне.

– Знаешь что, Тим, – сказал он, – денег у меня уйма, и они все время нарастают; я же не трачу ни одного цента или, во всяком случае, очень мало... хотя эта миссис Соммерстон получает тысячу восемьсот долларов в год на всем готовом, и лошади к ее услугам, а мы с тобой рады, если нам дадут остатки от обедов кочегаров. Но все равно, мой капитал растет. А сколько это – десять процентов с двадцати миллионов долларов?

Тим Хэгэн уставился в раскаленную пустыню и пытался решить эту задачу.

– Сколько составляет одна десятая от двадцати миллионов? – спросил Дик.

– Ну, конечно, два миллиона.

– Так, ну, а пять процентов – это половина десяти. Сколько же принесут двадцать миллионов по пяти процентов в год?

Тим заколебался.

– Ровно половину, половину двух миллионов! – воскликнул Дик. – В таком случае я с каждым годом становлюсь богаче на миллион. Ты это запомни хорошенько и слушай дальше. Когда я стану хорошим мальчиком и соглашусь вернуться, но это будет через много лет, мы с тобою это дело сделаем. Когда я тебе скажу, ты напишешь отцу, он на нас нагрянет в условном месте, арестует меня и потащит домой. Он получит от моих опекунов тридцать тысяч награды, бросит службу в полиции и, вероятно, откроет питейное заведение.

– Тридцать тысяч чертовски большие деньги, – Тим таким образом небрежно поблагодарил.

– Но не для меня. – Дик не желал преувеличивать своего великодушия. – В миллион тридцать тысяч входят тридцать три раза. А мое состояние приносит каждый год по миллиону.

Однако Тиму Хэгэну не суждено было увидеть отца владельцем трактира. Два дня спустя какой-то кондуктор, найдя мальчиков, скрывавшихся в пустом товарном вагоне, по глупости выставил их, когда поезд стоял на виадуке, перекинутом через крутой и голый овраг. Дик взглянул вниз на каменистое дно и запротестовал:

– Положим, на виадуке место есть, ну, а что, если поезд вдруг тронется?

– Не тронется, удирайте, пока можно, – настаивал кондуктор, – паровоз всегда здесь набирает воду.

На этот раз паровоз не стал брать воду. На следствии выяснилось, что машинист, убедившись, что воды в водокачке нет, решил ехать дальше. Едва мальчики успели выскочить через боковую дверь вагона и пройти несколько десятков шагов по узенькому пространству между поездом и пропастью, как поезд тронулся. Дик, быстро соображавший и приспособлявшийся к обстоятельствам, мгновенно сел на корточки. Таким образом, он получил больше точек опоры и даже больше места, потому что подполз под наружный край вагона; Тим, все умственные процессы которого протекали медленно и к тому же охваченный чисто кельтским бешенством против коварного кондуктора, выпрямился во весь рост, чтобы в образных, хоть и непечатных, выражениях высказать свое о нем мнение.

– Вниз! Скорее! – крикнул Дик.

Но было уже поздно. Паровоз набирал скорость. Лицом к движущимся вагонам, с пустотой за спиной и пропастью под ногами, Тим пытался стать на корточки. Но при первом же движении плеч он ударился о вагон и чуть не потерял равновесие. Каким-то чудом он удержался и выпрямился. Поезд шел все быстрее и быстрее; снова стать на корточки уже было невозможно.

Дик, стоя на коленях, не в состоянии двинуться, все видел. Поезд набирал скорость. Тим, однако, не терял присутствия духа. Спиной к пропасти, лицом к вагонам, плотно прижав к телу опущенные руки, чувствуя опору только под ногами, он пошатывался, но балансировал. Чем скорее шел поезд, тем больше его раскачивало, но, наконец, большим усилием воли он остановился и стал прямо.

И все кончилось бы благополучно, если бы не один особый вагон. Дик сразу это понял – он видел его приближение. Это был «лошадиный вагон», на шесть дюймов шире остальных. Он увидел, что и Тим его заметил. Он увидел, как Тим напряг все силы, чтобы приспособиться к тому, что из-под его ног уйдет еще полфута узкого пространства, на котором он лавировал. Он видел, как Тим медленно и обдуманно подавался назад до крайнего предела и все же еще недостаточно. Отойти дальше было физически невозможно. Будь у него на один дюйм больше, Тим спасся бы и от этого вагона. Но этот дюйм его погубил. Вагон задел его, толкнул в бок и назад, и мальчик дважды перевернулся в воздухе, прежде чем удариться головой о скалы.

Ударившись, он уже не шевельнулся. Череп был размозжен, и здесь-то Дик увидел смерть – не прилизанную, прилично обставленную смерть в культурных городах, где врачи, сестры и подкожные впрыскивания облегчают пациенту переход в неведомый мир и где обряды, цветы и похоронное общество смягчают горе оставшихся, а внезапную смерть, грубую и безобразную, подобную смерти вола на бойне или смерти жирной свиньи с проколотой жилой.

Тотчас же Дик понял и многое другое – превратности жизни и судьбы, враждебность вселенной к человеку, необходимость соображать и действовать, видеть и знать; необходимость в уверенности и решительности. И тут же, над уродливыми останками того, кто еще только сейчас был его товарищем, Дик понял, что воздушные замки лгут и что никогда не обманывает только действительность.

В Новой Мексике Дик попал в одно из необозримых имений, простирающихся к северу от Росуэлла, в долине Пикос. Ему тогда еще не было четырнадцати лет. Он скоро сделался общим любимцем многочисленных служащих, из него получился настоящий, удалой ковбой.

За шесть месяцев, проведенных им в этом имении, Дик окреп телом, прошел практический курс коневодства и познакомился с людьми совершенно разными, неотесанными и грубыми. Эти знания оказались для него бесценным приобретением. Здесь же он научился и другому. Джон Чайзом, владелец этого и еще многих других имений, король скотоводов, первый предвидел для края наступление новой земледельческой эры, фермерства, и, исходя из этого, поставил ограды из колючей проволоки. Он скупал участки, хорошо орошённые, а затем совсем по дешевке приобрел до миллиона акров, не имевших никакой ценности, если бы не прилегающая орошённая земля, скупленная до того. И за товарищеской беседой у костра или сидя в повозке, груженной продовольствием для далеких бивуаков, в обществе ковбоев, живущих на жалованье в сорок долларов в месяц и не предвидевших того, что предвидел Джон Чайзом, Дик понял, почему именно и каким образом Джон Чайзом стал королем скотоводства, а тысячи его соплеменников работали на него.

Но у Дика голова была не расчетливая, а горячая; характер страстный, огненный и мужественно-гордый. Готовый плакать от усталости после двадцати часов верховой езды, он научился пренебрегать физическими лишениями, как бы они ни заставляли его страдать, и стоически выжидать, пока не истощится терпение других. Те же качества заставляли его беспрекословно садиться на любую лошадь, какую бы ему ни дали, самому напоминать о своей очереди для выезда в ночное и без усталости и страха сгонять разбежавшееся стадо закинутым, извивающимся в воздухе лассо. Он позволял себе рисковать, риск был для него радостью, но никогда не терял чувства реальности. Он помнил, что человеческие черепа легко разбиваются о твердые скалы и под копытами лошадей. И если он когда и отказывался сесть на какую-нибудь лошадь, то потому только, что убедился, что в решительный момент она спотыкалась и у нее путались ноги; отказ этот вызывался не страхом, а тем, что (так он сказал самому Джону Чайзому) он хочет, если и рисковать жизнью, то по собственному желанию и ломать себе шею за хорошие деньги.

Только отсюда Дик собрался написать своим опекунам письмо, но из предосторожности дал его опустить животноводу из Чикаго, а адресовал на имя повара О-Чая. Дик не пользовался своими двадцатью миллионами, но никогда не забывал о них, и, опасаясь, что его состояние может быть роздано каким-нибудь дальним родственникам, которые могли отыскаться где-нибудь в Новой Англии, он предупреждал своих опекунов, что жив и здоров и через несколько лет вернется домой. В заключение он просил их и впредь содержать миссис Соммерстон и выплачивать ей условленное жалованье.

У молодого Дика руки чесались. Он считал, что оставаться в имении больше полугодика совершенно не имеет смысла. Он исколесил все Соединенные Штаты и в качестве малолетнего бродяги не раз сталкивался с мировыми судьями, полицейскими чиновниками, законами о бродяжничестве и тюрьмами. Между прочим, он познакомился и с сельским бытом, и с фермами, и фермерами и как-то раз в штате Нью-Йорк целую неделю собирал ягоды с каким-то фермером-голландцем, производившим опыты по сооружению одного из первых элеваторов в Соединенных Штатах. Он научился многому, но не потому, что учение стало его целью, а просто удовлетворяя свое ребяческое любопытство. Таким образом, он приобрел громадный опыт в познании и человеческой природы и жизни общества. Эти знания немало пригодились ему позднее, когда уже с помощью книг он перерабатывал и систематизировал их.

Никакого вреда все его приключения Дику не принесли. Даже в обществе арестантов, вслушиваясь в их философствования о добре и зле и жизненных потребностях, он не заразился чужими взглядами. Он как бы оставался странником среди чуждых ему племен. Чувствуя себя в безопасности за своими двадцатью миллионами, он не испытывал ни нужды, ни желания красть или грабить. Он интересовался всем и всеми, но нигде не находил места или положения, которое могло бы задержать его навсегда. Он хотел видеть все больше и больше, наблюдать все без конца.

Через три года, когда ему минуло шестнадцать, окрепнув не по возрасту, он посчитал необходимым вернуться домой и засесть за книги. Тогда же он совершил свое первое долгое путешествие, поступив юнгой на торговое судно, отправлявшееся из какого-то порта на Атлантическом океане через Магелланов пролив в Сан-Франциско. Плавание было трудное, длилось сто восемьдесят дней, но к концу его он прибавил десять фунтов.

Миссис Соммерстон только ахнула, когда в один прекрасный день он предстал перед ней. Пришлось вызвать из кухни О-Чая, чтобы убедиться, Дик ли это. Она вскрикнула еще раз, когда подала ему руку, и он, привыкший обращаться с канатами, крепко сжал ее нежную руку. При первой встрече со срочно вызванными опекунами он держался застенчиво и даже несколько смущенно. Но это несколько не помешало ему приступить прямо к делу.

– Вот что, – сказал он, – я не дурак, я знаю, чего хочу, а хочу я того, что мне нужно. Я на свете один, не считая, конечно, таких добрых друзей, как вы; у меня свои понятия о жизни и о моей роли в ней. Домой я вернулся не из чувства долга перед другими. Я вернулся домой только из чувства долга перед самим собой. В моих странствованиях я только выиграл, а теперь я хочу продолжать свое образование: я хочу сказать – свое школьное образование.

– Бельмонтское училище, – подсказал ему мистер Слокум, – подготовит вас к университету.

Дик отрицательно покачал головой.

– На это уйдет три года, да и на любой колледж понадобится столько же времени. Я намерен поступить в Калифорнийский университет через год, и мне придется поработать. Но мозги у меня, как кислота, они въедаются в книги. Я найму учителя или полдюжины учителей и засяду за учение. Но выбирать себе учителей я буду сам, нанимать и отказывать им – тоже. А для этого я должен располагать деньгами.

– Долларов сто в месяц, – предложил мистер Крокетт.

Дик снова покачал головой.

– Я три года пробивался сам, не беря ни гроша из своих денег. Я думаю, что сумею распорядиться и здесь, в Сан-Франциско, располагая определенной суммой. Я вовсе не намерен пока распорядиться всеми своими делами, но текущий счет в банке мне открыть нужно, и приличный. Я хочу тратить так, как мне покажется нужным и на что я сочту нужным.

Опекуны в ужасе переглянулись.

– Это нелепо, – начал мистер Крокетт. – Вы остались таким же неблагоприятным, каким были, когда ушли.

– Ничего не поделаешь, – вздохнул Дик. – И тогда тоже мы поспорили из-за денег. А мне ведь нужно было всего сто долларов.

– Вы подумайте о нашем положении, Дик, – усовещевал его мистер Дэвидсон. – Ведь мы ваши опекуны. Как на нас посмотрят люди, если мы позволим вам, шестнадцатилетнему мальчику, распоряжаться деньгами?

– Сколько стоит моя яхта «Фрида»? – неожиданно спросил Дик.

– Ее всегда можно продать за двадцать тысяч, – ответил мистер Крокетт.

– В таком случае продайте ее, для меня она слишком велика и притом с каждым годом обесценивается. Мне нужна игрушечка, футов тридцать, с которой я мог бы справляться. Она обойдется не больше тысячи. Продайте «Фриду», а деньги положите на мой текущий счет. Я знаю, все вы трое боитесь, что я растрочу, запью, прокучу на бегах или с певичками. Так вот, чтобы вас успокоить, я вношу следующее предложение. Пусть этот текущий счет будет на имя всех нас четверых. Как только вы решите, что я трачу деньги неправильно, вы будете иметь возможность снять со счета всю сумму полностью. Кстати, могу вам сейчас сказать, что намерен пригласить эксперта из какого-нибудь коммерческого училища, чтобы под его руководством изучить всю деловую механику.

Дик даже не стал ждать их согласия, а продолжал, как бы считая дело решенным:

– А насчет лошадей в Мэнло вы не беспокойтесь, я их осмотрю и сам решу, какие из них сохранить. Миссис Соммерстон пускай останется здесь и ведет хозяйство, потому что я и так наметил себе достаточно работы. Заранее обещаю, что вы не пожалеете, дав мне волю распоряжаться моими личными делами, а теперь, если хотите послушать историю этих трех лет, я вам ее расскажу.

Дик был прав, говоря опекунам, что у него мозги, точно кислота. Он умом буквально въедался в книги. Он сам направлял свои занятия, не чуждаясь совета сведущих лиц. Он научился у своего отца и у Джона Чайзома искусству использовать чужие мозги; молчать и думать он научился, пока пастухи болтали у костров. Пользуясь своим именем и положением, он отыскал и добился свиданий с профессорами, ректорами университетов и дельцами; он слушал их в течение долгих часов, редко прерывая их, редко задавая вопросы, воспринимая лучшее из того, что они могли дать, и вполне довольный, если в течение нескольких таких часов он извлекал для себя одну какую-нибудь идею, один факт, который помог бы ему решить, какое ему нужно образование и как взяться за дело.

Когда настало время пригласить учителей, начались такие испытания и увольнения, каких свет не видывал. Здесь он не экономил. Одного он удерживал месяц или три, а доброму десятку других отказывал в первый же день или в первую же неделю; но при этом неизменно уплачивал за весь месяц, даже если занятия продолжались не больше часа. Он действовал широко и справедливо, по своим средствам.

Этот мальчик, не раз кормившийся остатками обедов батраков и пивший воду в горных ключах, основательно изучил цену денег. Он всегда покупал самое лучшее, уверенный, что, в конце концов это обойдется дешевле. Для поступления в университет нужно было пройти годичный курс физики и годичный курс химии. Усвоив алгебру и геометрию, он стал искать корифеев физики и математики Калифорнийского университета. Профессор Кэйри начал с того, что рассмеялся.

– Милый мой мальчик... – начал он. Дик терпеливо выслушал его до конца. Затем заговорил сам:

– Профессор, я не дурак; учащиеся средних учебных заведений – дети, они не знают света, не знают, что им нужно и почему им нужно то, что им преподают. А я знаю свет, знаю, почему и что мне нужно. Они занимаются физикой по два часа в неделю в течение двух семестров, которые, если считать каникулы, тянутся целый год. Вы – лучший преподаватель физики на всем Тихоокеанском побережье. Сейчас учебный год как раз кончается. Если вы посвятите мне всю первую неделю каникул, то я за это время пройду годичный курс физики. Во сколько вы оцениваете одну вашу такую неделю?

– Вам ее не купить и за тысячу долларов, – ответил профессор Кэйри, думая на этом и закончить.

– Ваше жалованье я знаю... – начал Дик.

– Сколько же я получаю, по-вашему? – резко спросил профессор Кэйри.

– Во всяком случае не тысячу долларов в неделю, – так же резко ответил Дик, – и не пятьсот в неделю и не двести пятьдесят в неделю. – Он поднял руку, чтобы остановить профессора, собиравшегося перебить его. – Вы сейчас мне сказали, что мне не купить неделю вашего времени за тысячу долларов. Я хотел бы купить ее за две тысячи. Господи! Ведь на жизнь отведено считанное количество лет.

– А годы вы тоже можете купить? – насмешливо спросил профессор Кэйри.

– Разумеется, за этим я сюда и пришел.

– Но я же еще не согласился, – засмеялся профессор.

– Если сумма недостаточна, – заявил Дик сухо, – вы назовите цифру, которая вас удовлетворит.

И профессор Кэйри сдался. Так же сдался и профессор Барсдейл, профессор химии.

Своих учителей математики Дик возил на охоту за утками на болота Сакраменто и Сан-Хоакина; справившись с физикой и химией, он повез учителей словесности и истории на охоту в лесистый район юго-западной части Орегона. Этому он научился у отца; он работал и развлекался, жил на свежем воздухе и без всякого напряжения прошел обычный трехлетний курс средней школы в один год. Он ловил рыбу, охотился, плавал, делал гимнастику и в то же время целенаправленно готовился к университету, не ошибаясь в своих расчетах. Он знал, что имеет возможность это делать, потому что отцовские двадцать миллионов давали ему особую власть. Деньги являлись для него средством; он не переоценивал, но и не умалял их значения. Он пользовался ими, чтобы купить то, что ему нужно.

– Удивительная расточительность, – заявил мистер Крокетт, рассматривая представленный Диком годовой отчет. – Шестнадцать тысяч долларов на одно учение, причем все расходы у него записаны до последних мелочей, включая и железнодорожные билеты, на чай слугам и даже порох и патроны, истраченные учителями.

– Но экзамены он все-таки выдержал, – заметил мистер Слокум.

– И всего в один год, – пробурчал мистер Дэвидсон. – Мой внук поступил в Бельмонт тогда же и еще дай Бог, чтобы он поступил в университет через два года.

– Ну, что же, одно могу сказать, – провозгласил мистер Крокетт, – отныне, сколько бы мальчик ни потребовал на свои расходы, отказа ему не будет.

– Ну, а теперь я убавлю ход, – сказал Дик своим опекунам, – в науках я догнал своих сверстников, а в знании людей и света опередил их на целые годы. Я знаю столько хорошего и дурного, столько значительного и пошлого о мужчинах, женщинах и жизни, что иной раз сам сомневаюсь, действительно ли я видел все, что знаю. Теперь уже такой спешки не будет: я сверстников нагнал и теперь пойду нормальным ходом. Мне только придется аккуратно переходить с одного курса на другой, и к двадцати одному году я окончу. Мне на ученье теперь столько денег не понадобится, учителей больше не нужно, но на развлечения можно будет тратить больше...

Мистер Дэвидсон насторожился:

– Что вы понимаете под словом развлечения?

– Университетские кружки, футбол... Не хочу же я быть хуже других, да к тому же я интересуюсь газолиновыми моторами. Я намерен построить первую в мире яхту с газолиновым мотором.

– Вы взорветесь, – покачал головой мистер Крокетт. – Глупости одни – все эти выдумки с газолином.

– Я уж постараюсь принять меры, – ответил Дик, – но для этого нужны опыты, а следовательно, и деньги. Итак, не скупитесь на новый текущий счет, по-старому – на имя всех четверых.

Глава VI

В университете Дик Форрест выделялся только тем, что в первый год своего учения он пропускал больше лекций, чем прочие студенты. Он позволял себе это, зная, что в пропущенных лекциях не нуждается. Его частные уроки с преподавателями не только подготовили его к вступительным экзаменам, но помогли ему пройти и весь первый курс. Между прочим, он поступил и в футбольную команду первокурсников, таких слабых спортсменов, что их били во всех соревнованиях.

Но Дик успел за это время многое сделать незаметно. Он основательно читал и когда вышел летом в плавание на своей газолиновой яхте, то окружил себя отнюдь не легкомысленной молодежью. Гостями его были профессора литературы, истории, права и философии с их семействами. Об этом плавании в университете помнили долго. Профессора по возвращении рассказывали о нем чудеса. Дик же вынес из него более углубленное понимание ряда научных дисциплин и, таким образом, извлек из этих недель то, чего не могли ему дать годы лекций. Поэтому он продолжал пропускать лекции, больше времени уделяя лабораторным занятиям.

Не пренебрегал он также и развлечениями. Университетские дамы за ним ухаживали, барышни влюблялись; он был неутомимым танцором, охотно участвовал в студенческих пирушках; объездил все Тихоокеанское побережье с клубом любителей мандолины и банджо. И все же гением он не был. У него не было даже особенных способностей. Некоторые его товарищи играли на банджо и на мандолине гораздо лучше его, другие гораздо лучше танцевали. Правда, на втором курсе его футбольная команда, наконец, одержала победу благодаря ему; но дальше репутации серьезного, надежного игрока он не пошел. В борьбе лучшие борцы клали его на обе лопатки два раза из трех, но всегда лишь потратив на это немало сил.

Первым он не был ни в чем. Чарли Эверсон умел выпивать несравненно больше пива, чем он. Каррузерс побеждал его в боксе, пятая часть его курса писала лучше английские сочинения. Эдлин, русский еврей, победил его в диспуте, доказывая, что собственность есть грабеж. Шульц и Дебрэ оставались первыми по высшей математике, а у японца Отсуки не было соперников по химии.

Но если Дик Форрест ничем особенным не отличался, то он ни в чем и не отставал. Он не проявлял исключительных талантов, но обвинить его в бездарности было невозможно. Его опекуны, весьма довольные его неизменным прекрасным поведением, размечтались было о предстоящей ему блестящей карьере, но когда они спросили его, кем он хочет стать, он ответил:

– Просто образованным человеком. Ведь мне незачем быть специалистом, это для меня устроил мой отец, обеспечив меня. К тому же, при всем моем желании, я не смог бы стать специалистом, это мне не по душе.

Это был инструмент, настроенный так точно, что струны его всегда звучали соразмерно ключу. Он представлял собою редкое явление человека нормального, среднего, хорошо уравновешенного и всесторонне развитого.

Когда мистер Дэвидсон как-то раз в присутствии других опекунов выразил свое удовольствие по поводу того, что Дик не допустил никаких глупостей с тех пор, как вернулся домой, Дик ответил:

– Да, я умею держать себя в руках, когда хочу.

– Конечно, – серьезно сказал мистер Слокум. – Великое счастье, что вы рано нагулялись и научились самообладанию.

Дик загадочно посмотрел на него.

– Ну, эта детская выходка не в счет – я еще не размахнулся как следует, я еще не отгулял, вы посмотрите, когда я начну! Вы знаете песню Киплинга о Диего Вальдесе? Видите ли, Диего Вальдесу везло, как и мне. Он приблизился к положению верховного адмирала Испании и не успел насладиться своим счастьем, был слишком занят. Он надеялся, что его жизнерадостность и энергия останутся при нем долго. Послушайте, – продолжал он, и лицо его загорелось страстью, – помните, что жажда моя далеко не утолена; я весь горю, но пока

еще себя сдерживаю. Вы, пожалуйста, не думайте, что во мне нет огня, потому только, что я веду себя, как подобает благонаравному школьнику; я молод, жизнь во мне бьет ключом; но этих ничтожных вспышек мне недостаточно, я развожу пары, мое время придет... Знаете ли вы, что значит ударить врага, оставив его мертвым? Вот что мне нужно: любить и целовать, и рисковать, и быть жадным! Я хочу использовать все свои возможности, пока я молод, но не сейчас, пока я слишком молод. Я, как положено, учусь, но поверьте, я не смиренная овечка и уж когда дам себе волю, то разойдусь вовсю. Поверьте, сны мои не всегда спокойны!

- Что вы хотите этим сказать? - спросил мистер Крокетт.

- То есть я еще не разгулялся; а когда сброшу с себя узду, тогда, повторяю, только держись!

- Вы думаете начать тотчас по окончании университета?

Он покачал головой.

- По окончании университета я поступлю по меньшей мере на год в сельскохозяйственный институт. Дело в том, что у меня есть одно увлечение - сельское хозяйство. Я хочу сделать что-нибудь, хочу что-то создать. Деятельность моего отца не была творческой, как и ваша. Вы были пионерами в новой земле и собирали деньги, как матросы, наткнувшись на непочатое богатство.

- Но, друг мой, у меня все же есть некоторый опыт в сельском хозяйстве Калифорнии, - несколько обиженно прервал его мистер Крокетт.

- Совершенно верно, но не создали. Вы были - простите, ведь факты остаются фактами, скорее разрушителями, хищниками. Что вы делали? Вы брали, захватывали, например, сорок тысяч акров плодороднейшей земли в долине Сакраменто и год за годом засеивали ее пшеницей; вы и не помышляли о севообороте. Вы жгли солому, истощали свой чернозем, вы вспахивали землю на четыре дюйма, а под этим слоем оставляли грунт твердый, как камень. Вы истощили этот тонкий плодородный слой; теперь вы уже не выручаете из него даже на семена. Это было хищничество, им занимался и мой отец. Да и все. Я же хочу на отцовские деньги создавать. Возьму истощенную пшеницей землю,

которую можно купить за бесценок, выворочу под ней грунт и в конце концов добуду из земли больше, чем вы получали от нее даже в ваши первые лучшие годы.

К концу третьего года мистер Крокетт снова заговорил о старом намерении Дика загулять вовсю.

– Как только окончу сельскохозяйственный институт, – ответил Дик, – тогда куплю имение и пущу его в ход, а сам уеду и загуляю!

– А каких размеров будет ваше имение для начала? – спросил мистер Дэвидсон.

– Может быть, начну с пятидесяти тысяч акров, а может быть, и с полумиллиона. Будет видно. Калифорния – все еще непочатый край. Без малейших с моей стороны усилий земля, которую я сейчас куплю за десять долларов, будет через пятнадцать лет стоить пятьдесят, а то, что я куплю за пятьдесят, будет стоить пятьсот.

– Полмиллиона акров по десять долларов – это пять миллионов долларов, – озабоченно заметил мистер Крокетт.

– А по пятьдесят – и все двадцать пять миллионов, – рассмеялся Дик.

Но его опекуны не особенно верили во все фокусы, которыми он угрожал. Они допускали, что он способен ухлопать свое состояние на новомодное хозяйство, но чтобы он загулял буквально, после стольких лет самообладания, это казалось немислимым.

Дик окончил университет без особенного блеска. Он считался двадцать восьмым и ничем не выдвинулся. Отличился он, главным образом, тем, что выдержал атаки очень многих милых барышень и причинил им и их матерям немало разочарований, да еще тем, что в последний год пребывания в университете помог своим товарищам победить в футбол Стэнфордский университет.

В сельскохозяйственном институте, изучая животноводство, Дик занялся исключительно лабораторной работой и совершенно не посещал лекций. Он пригласил частных преподавателей и истратил на них целое состояние,

разъезжая с ними по всей Калифорнии.

Жак Рибо, считавшийся одним из мировых авторитетов по агрономической химии, получавший во Франции две тысячи в год и переселившийся в Калифорнию ради предложенных ему Калифорнийским университетом шести тысяч, а позднее перекочевавший на Гавайи, куда его переманили владельцы сахарных плантаций, пообещав десять тысяч, заключил с Диком Форрестом пятилетний контракт по пятнадцати тысяч в год – в чудесном, ровном климате Калифорнии.

Узнав об этом, опекуны всплеснули руками, догадавшись, что тут-то и начинается сумасшедшая кампания, которую предсказывал им Дик Форрест.

Подобных сумасбродств Дик устроил немало. Он переманил у федерального правительства лучшего специалиста по рогатому скоту и за грандиозный оклад; с таким же коварством отнял он у университета штата Небраска величайшего специалиста по молочному хозяйству и смертельно огорчил декана сельскохозяйственного факультета Калифорнийского университета, забрав к себе профессора Нирденхаммера, истинного чародея по фермерскому хозяйству.

– Это дешево, право же, дешево, – уверял Дик, объясняясь со своими опекунами. – Неужели вы бы предпочли, чтобы я разорялся на скаковых лошадях и актрис вместо профессоров? Ваша беда в том, что вы не понимаете, как полезно покупать мозги, а я понимаю. Это моя специальность. Я зарабатываю на них деньги, у меня будут расти десять колосьев там, где у вас, пожирателей, уже и полколоса не вырастает.

После таких разговоров опекуны уже, конечно, не придавали значения его предупреждению по поводу того, что он бросится «любить и целовать, и рисковать» и драться.

– Еще только год, – предупреждал он их, зарывшись в книги по агрономической химии, почвоведению и сельскому хозяйству, и тут же объезжал всю Калифорнию со своим штабом высоко оплачиваемых экспертов. Опекуны опасались быстрого и полного таяния отцовских миллионов по достижении Диком совершеннолетия, когда ему предстояло взять в собственные руки все свое состояние и реализовывать безумные сельскохозяйственные затеи.

В тот самый день, когда ему исполнился двадцать один год, была совершена купчая на давно намеченное им громадное имение, простиравшееся на запад от реки Сакраменто до самых вершин горного хребта, – целое княжество.

– Невероятная цена! – вздыхал мистер Крокетт.

– Действительно, невероятно дешево, – возражал Дик. – Вы бы только посмотрели, какие сведения о почве, об источниках моих владений! Вы послушайте, что я вам спою. Вы послушайте, опекуны мои, вот это настоящая песня. Музыку сочинил я сам так, как, мне кажется, она должна была звучать. Видите, сейчас уже нет никого, кто бы ее слышал. Нишинамы знают ее через племя майду, а тем она была передана племенем канкау. Пели эту песню именно канкаутцы. И нишинамов, и майду, и канкаутцев уже больше нет. Я раскопал эту песню в третьем томе одного этнографического сборника, издаваемого Тихоокеанским географическим и геологическим обществом Соединенных Штатов. Эту песню впервые пел звездам и горным цветам на заре мира вождь Багряное Облако, сошедший с неба. Я знаю слова и индейские, но вам спою уже по-своему.

И, подражая индейскому фальцету, как бы торжествуя, вне себя от радости, ударяя себя по икрам и отбивая темп ногами, Дик пел:

Желуди падают с неба!

Я сажаю маленький желудь в долине!

Я сажаю большой желудь в долине!

Всходит желудь дуба, всходит, всходит!

В скором времени имя Дика Форреста стало все чаще появляться в газетах. Когда он купил быка за десять тысяч долларов, то сразу стал знаменитостью. Такой цены в Калифорнии еще не давал никто. Скотовод-специалист, «похищенный» им у правительства, перебил в Англии у Ротшильда за пять тысяч фунтов стерлингов одного ширского жеребца, который скоро прославился под именем Каприз Форреста.

– Пускай смеются, – говорил Дик своим бывшим опекунам, – я выпишу сорок кобыл, и жеребец окупит себя наполовину в первый же год, а сыновей его и

внуков у меня здесь, в Калифорнии, будут расхватывать по три, а то и по пяти тысяч долларов.

В первые месяцы своего совершеннолетия Дик совершил много таких «безумств». Но самым необъяснимым из них оказалось последнее: истратив миллионы на свою прихоть, он сдал все хозяйство специалистам, поручив им развивать его по намеченному им плану и до некоторой степени ограничив их полномочия, чтобы не дать совершить непоправимой ошибки; купил себе билет на пассажирское судно, отходившее в Таити, и уехал – «гулять». Опекуны изредка получали от него письма. Однажды они узнали, что он оказался владельцем и шкипером четырехмачтового стального парусника под английским флагом, перевозившего уголь из Ньюкасла. Узнали они это потому, что им пришлось выдать деньги на покупку судна, затем имя шкипера Форреста упоминалось в газетах, когда его команда спасла пассажиров злосчастного «Ориона»; позднее они же получили страховые деньги, когда судно Дика погибло почти со всей командой в страшном урагане, настигшем его у островов Фиджи. В 1896 году Дик неожиданно оказался в Клондайке, в 1897 году – на Камчатке, где заболел цингой. Затем он появился на Филиппинских островах под американским флагом. Наконец, как и почему – они так никогда и не узнали, он оказался владельцем и шкипером пассажирского парохода, давным-давно исключенного из списков Ллойда и плававшего под покровительством Сиама.

Время от времени между ними завязывалась деловая переписка. Он подавал вести о себе то из одного порта, то из другого. Как-то раз им пришлось использовать все свое политическое влияние для воздействия на Вашингтон, чтобы американское правительство вызволило его из беды, в которую он попал в России. Об этом деле в газетах не промелькнуло ни одной строчки, но всему дипломатическому миру Европы оно доставило весьма пикантное удовольствие.

Однажды случайно они узнали, что он лежит раненый где-то в Китае; в другой раз, что он в Вест-Индии перенес желтую лихорадку. В Нью-Йорке его судили по обвинению в жестоком обращении с матросами во время плавания. Газеты трижды сообщали о его смерти: раз – в бою в Мексике, а дважды извещалось о его казни в Венесуэле. После таких ложных слухов его опекуны уже разучились волноваться, когда слышали, что он переплыл Желтое море в туземной лодке, умер от бери-бери, был захвачен японцами у русских в Мукдене и в качестве военнопленного задержан в Японии.

Они взволновались еще только один раз, когда, верный своему обещанию, тридцатилетний Дик Форрест вернулся в Калифорнию с женой, на которой, по его словам, он уже был женат несколько лет; ее, оказывается, хорошо знали три опекуна. Мистер Слокум когда-то потерял восемьсот тысяч вместе со всем состоянием ее отца в последнюю катастрофу с Лос-Кокосскими рудниками, в то самое время, когда Соединенные Штаты обесценивали серебро. Мистер Дэвидсон извлек из устья реки в графстве Амадор миллион тогда же, когда ее отец добыл оттуда же восемь миллионов. В рискованной операции по осушению русла золотоносной реки мистер Крокетт действовал также вместе с ее отцом и тогда, еще пылкий юноша, он был у него шафером, когда тот женился на ее матери.

Итак, Дик Форрест женился на дочери Филиппа Дестена. Тут уже не приходилось желать Дику счастья. Следовало только разъяснить ему, что он сам не понимает, как ему повезло. Опекуны простили ему все его дикие выходки. Теперь он все искупил. Наконец-то он поступил вполне благоразумно, мало того – гениально. Паола Дестен – дочь Филиппа Дестена, кровь Дестенов! Дестены и Форресты! Престарелые товарищи Форреста и Дестена, товарищи старых золотоносных лет, лучшие друзья тех двух, уже наигравшихся и умерших, сочли нужным поговорить с Диком построже. Они указали ему на бесконечную ценность его сокровища, напомнили ему о священном долге, возлагаемом на него таким браком, и довели его до смеха своими толкованиями традиций и достоинств родов Дестенов и Форрестов; он совершенно обезоружил их, объявив, что они говорят подлинным языком фанатиков евгеники; да, он был вполне прав, хотя они вовсе не желали слышать эту правду.

Так или иначе, но его выбор удостоился безусловного одобрения, и они без малейшего возражения согласились с планами и сметами Большого дома. Благодаря Паоле Дестен в этот раз они великодушно признали, что предположенные им расходы вполне уместны. Что касается сельского хозяйства, то им не пришлось отрицать, что урожаи великолепны и что фантазия Дика вполне целесообразна. Хотя мистер Слокум заметил:

– Двадцать пять тысяч за жеребца-тяжеловоза – это нелепость. Ведь тяжеловоз – не более чем рабочая лошадь, никак не более. Вот если бы скаковая!..

Пока Дик Форрест просматривал брошюру о свиной холере, изданную штатом Айова, в открытые окна через широкий двор донеслись звуки, возвещавшие о пробуждении той, чей портрет в деревянной рамке смеялся ему в портике, – молодой женщины, несколько часов тому назад оставившей у него на полу легкий розовый газовый чепчик с кружевами, так осторожно подобранный внимательным слугой.

Дик слышал ее голос: она, как птица, просыпалась с песней. Он слышал ее трели и рулады, то более громкие, то слабеющие, через растворенные во всю длину ее флигеля окна. Слышал, как она распевала в крытой веранде, проходившей через весь двор, как на минуту остановилась, чтобы побранить своего щенка, овчарку, обратившую преступное внимание на японских золотых рыбок, снующих в бассейне фонтана. Он радовался ее пробуждению. Это чувство удовольствия никогда не притуплялось, и хотя сам он уже был на ногах давно, ему всегда казалось, что Большой дом еще не проснулся, пока он не услышит утренней песни Паолы.

Но, отдавшись на минуту этому удовольствию, Дик, как и всегда, забыл о ней за делами. Она как бы вышла из его сознания; он снова углубился в статистику штата Айовы о свиной холере.

– С добрым утром, славный господин! – услышал он то, что всегда казалось ему чудесной музыкой, и Паола, во всей свежести утреннего кимоно, свободно облежавшего ее ничем не стесненный гибкий стан, обвила его шею рукой и присела к нему на колени. Он прижал ее к себе, и она почувствовала, что он рад ее близости, хотя глаза его еще с полминуты не отрывались от выводов, сделанных профессором Кенили по прививкам на ферме Симона Джонса в Вашингтоне в штате Айова.

– Какой ты счастливый, – проговорила она тоном шутливого упрека. – Ты пресыщен счастьем, вот твоя «маленькая хозяйка», твой ясный месяц, а ты даже не сказал: «С добрым утром, хозяйюшка, сладко ли спалось?»

Дик оторвался от статистических выкладок результатов профессорских прививок, крепче прижал к себе жену и поцеловал ее; но указательный палец его правой руки был упорно заложен на странице, которую он только что читал. После ее замечания ему неудобно было спрашивать о том, о чем следовало

осведомиться раньше, как она спала после того, как обронила чепчик у него в спальне-портике. Он придержал правый указательный палец в том месте брошюры, где собирался продолжать работать, и обвил ее еще и правой рукой.

- Слушай, - вдруг воскликнула она, - слушай, где-то свистят перепела. - Она прижалась к мужу и затрепетала, слушая нежные звуки.

- Начинается токование, - улыбнулся он.

- Значит, весна! - радовалась Паола.

- Теперь будет хорошая погода.

- И любовь!

- И гнезда вить будут, и яйца класть, - засмеялся Дик. - Знаешь, сегодня я всюду видел какое-то особенное плодородие. Леди Айлтон принесла одиннадцать чудесных поросят. Ангорских коз сегодня утром пригнали с гор, им тоже пришла пора; жаль, что ты их не видела; а дикие канарейки у нас во дворе заливаются часами, обсуждая свои брачные дела. Точно все проповедники свободной любви сплотились, чтобы свергнуть единобрачие современными любовными теориями. Слушай! Опять! Что это? Аплодисменты или бунт?

Послышалось тонкое, пискливое щебетание и чириканье, прерываемое резкими возбужденными трелями. Дик с Паолой наслаждались, прислушиваясь, как вдруг вся эта симфония, весь этот хор, пропетый влюбленными птичками в золотистом оперении, утонул в могучих звуках, не менее музыкальных, не менее страстных, но необъятных, диких, захватывающих дух своей силой.

Оба сразу обернулись глазами на дорогу, окаймленную сиреневыми кустами, напряженно ожидая появления рослого жеребца. Еще невидимый, он заржал второй раз. Это был его любовный призыв. Дик сказал:

- Спою и я тебе песню, гордая моя повелительница, ясный мой месяц, но песня не моя. Сложил ее сам Горный Дух; вот что я слышу в его ржании: «Внемлите! Я - Эрос. Я попираю копытами холмы, мой зов заполняет все широкие долины! Кобылы слышат меня и волнуются на своих мирных пастбищах, ибо они меня

знают. Трава растет все роскошнее и роскошнее, земля наливается, наливаются и деревья. Пришла весна – весна моя. Я здесь властелин, я царствую над весной. Кобылы помнят мой голос, как до них помнили их матери. Внемлите! Я – Эрос, я попираю копытами холмы, а широкие долины возвещают о моем приближении своим эхом!»

Все теснее льнула Паола к мужу, все нежнее ласкал он ее, губы ее коснулись его лба, и оба с выжиданием загляделись на тропинку среди сирени, пока, наконец, пред ними не предстало мощное величественное зрелище: по дорожке выступал Горный Дух, сидевший на нем верхом человек казался ничтожным пигмеем. Дик всмотрелся в глаза Горного Духа, подернутые синим блеском, – глаза породистого жеребца; то выгибая шею, то высоко вскидывая гордую морду, он испускал захватывающий дух и сотрясающий воздух страстный призыв.

В ответ, как эхо, издали донеслось нежное музыкальное ржание.

– Это Принцесса Фозерингтон! – тихо шепнула Паола.

Снова раздался трубный голос Горного Духа, и Дик нараспев повторил:

– «Внемлите! Я – Эрос. Я попираю копытами холмы!»

Паола, несмотря на ласку мужа, вдруг почувствовала как бы ревность к этому чудесному коню, которым он так непомерно восхищался. Это было лишь мгновенное ощущение, и она весело воскликнула:

– А теперь, Багряное Облако, – спой мне песню про желудь.

Дик рассеянно перевел взор с брошюры, к которой только что собрался вернуться, но тут же спохватился и, сразу настроившись на подобающий лад, затянул дикий, монотонный, индейский напев с положенными на него словами:

Желуди падают с неба!

Я сажаю маленький желудь в долине!

Я сажаю большой желудь в долине!

Всходит желудь дуба, всходит, всходит!

Пока он пел, Паола теснее прижималась к нему, но сейчас же почувствовала нетерпеливое движение руки, державшей брошюру, и уловила быстрый взгляд мужа, брошенный в сторону стоящих на письменном столе часов. Было одиннадцать двадцать пять минут. Она сделала еще одно усилие удержать его, и в слова ее невольно вкралась нотка кроткого упрека:

– Странный ты, удивительное Багряное Облако! Иной раз я почти убеждаюсь, что ты в самом деле настоящий индеец Багряное Облако, сажающий желуди и в дикой песне изливающий свою дикую радость. Иногда же ты ультрасовременный человек, для которого статистические таблицы – чудесная поэзия, я вижу тебя вооруженным пробирками или шприцами, современного гладиатора, который борется с загадочными микроорганизмами. Бывают такие минуты, когда мне кажется, что тебе бы следовало быть лысым и носить очки...

– И что я по дряхлости своей не имею права держать у себя на коленях такую прелесть, не так ли? – закончил он за нее, снова притягивая ее к себе. – Что я просто глупый ученый и вовсе не заслуживаю тебя. Слушай же, у меня есть план. Через несколько дней...

Но в чем состоял этот план, так и осталось невыясненным. За их спиной раздался скромный кашель, и они увидели за собой Бонбрайта, помощника секретаря с пачкой желтых листков в руке.

– Четыре телеграммы, – вполголоса доложил он. – Мистер Блэйк полагает, что две из них очень важны. Одна касается погрузки в Чили партии быков, вы ведь знаете?

Паола медленно отошла от мужа и, встав, тут же почувствовала, что он опять ускользает от нее к своим статистическим сводкам и накладным, к секретарям, управляющим и зрителям.

– Кстати, Паола, – крикнул он ей вслед, когда она почти исчезла за дверью, – я окрестил нового боя – он будет называться О-Хо, как тебе нравится?

Она шутливо ответила. Он весело рассмеялся; она тоже, уже скрывшись за дверью. И сейчас же, разложив перед собою телеграммы, он погрузился в рассмотрение намеченной погрузки в Чили трехсот годовалых быков с

зарегистрированной родословной по сто пятьдесят долларов за каждого, включая погрузку. Но полусознательно он испытывал смутное чувство удовольствия, прислушиваясь, как поет Паола, возвращаясь к себе через крытую веранду, не замечая, впрочем, что голос ее несколько глуше обычного, правда, совсем чуть-чуть.

Глава VIII

Через пять минут после того, как Паола вышла, Дик, покончив с четырьмя телеграммами, сел в легкий автомобиль вместе с Тэйером, покупателем из Айдахо, и Нэйсмитом, корреспондентом «Вестника скотоводов». Уордмен, заведующий овцеводством, подошел к ним, когда они стояли уже у большой площадки, где в ожидании осмотра было собрано несколько тысяч молодых шропширских баранов.

Много разговаривать не пришлось, к великой досаде покупателя, считавшего, что по случаю приобретения десяти вагонов такого драгоценного скота не мешало бы и потолковать.

– Они говорят сами за себя, – заметил Дик и повернулся к Нэйсмиту, чтобы сообщить ему некоторые данные для статьи о шропширах в Калифорнии и северо-западном крае.

– Я не советовал бы вам затрудняться выбором, – обратился Дик к Тэйеру десять минут спустя. – Средних здесь нет, все – первый сорт. Вы просидите тут целую неделю и будете выбирать, а в конце концов убедитесь, что вы выбрали не лучше, чем если бы брали все подряд.

Дик говорил так, точно не сомневался, что сделка уже состоялась; эта уверенность, вместе с сознанием, что он действительно не видел таких одинаково замечательных баранов, так подействовала на покупателя, что неожиданно для самого себя он тут же вместо десяти вагонов заказал целых двадцать.

Вернувшись обратно в Большой дом и продолжая прерванную партию на бильярде, он сказал Нэйсмиту:

– Я у Форреста впервые; он просто волшебник. Я не раз делал закупки в восточных штатах, но его бараны меня попросту пленили. Вы заметили, я удвоил заказ; мне поручено погрузить шесть вагонов да на всякий случай мог бы прибавить еще два, но посмотрите: все покупатели, увидев такой скот, удвоят свои заказы. Из-за них будут драться; если я ошибаюсь, значит, я в баранах ничего не понимаю.

Ко второму завтраку призывал огромный бронзовый гонг, купленный в Корее. В него никогда не ударяли, прежде чем становилось известно, что Паола проснулась. Дик вышел к молодежи, собравшейся в большом внутреннем дворе. Берт Уэйнрайт, послушно следуя противоречивым указаниям и распоряжениям своей сестры Риты, самой Паолы и ее сестер, Льют и Эрнестины, ковшом вылавливал из бассейна фонтана необыкновенно красивую рыбу, пестрой окраской напоминавшую тропический цветок, с таким невероятным множеством плавников, что Паола решила ее и поместить в особый бассейн для племенных выводков в собственном дворике. Среди общей суматохи, смеха и криков с большим трудом удалось выловить громадную рыбу и выплеснуть ее в другой сосуд, который тут же был сдан на руки садовнику.

– Ну, что у вас нового? – живо спросила Эрнестина вышедшего к ним Дика.

– Ничего, – печально ответил он. – Имение пустеет, завтра в Южную Америку отправляется триста красавцев, молодых быков, а Тэйер, вы с ним познакомились вчера, увозит двадцать вагонов молодых баранов. Одно могу сказать, что искренне поздравляю с приобретениями Айдахо и Чили.

Бронзовый гонг ударил вторично. Паола, одной рукой обняв Дика, другой – Риту, повела их в дом; замыкавший шествие Берт прилежно обучал ее двух сестер какому-то новому па, чуть ли не собственного изобретения.

– Вот что еще, Тэйер, – сказал Дик вполголоса, освободившись от дам, разговаривавших с гостями, которых они встретили на площадке лестницы, – прежде чем уедете, поглядите на моих мериносов, не могу не похвастаться ими; американские овцеводы, несомненно, ими заинтересуются. Начал я, конечно, с нескольких привозных экземпляров, но добился специального калифорнийского

вида, которому позавидуют и сами французы. Поговорите с Уордменом и попросите Нэйсмита осмотреть их вместе с вами; да суньте с полдюжины их в ваш поезд и поднесите от меня в подарок вашему патрону – пусть полюбуется.

Они уселись за стол в длинной низкой столовой, точной копии столовых крупных мексиканских землевладельцев калифорнийской старины. Пол был выложен крупными коричневыми изразцами, сводчатый потолок и стены выбелены, огромный современный гладкий камин был чудом массивности и простоты. Зелень и цветы заглядывали в окна с глубокими просветами; вся комната дышала чистотой, простотой и прохладой.

По стенам было развешено несколько масляных картин; между ними в красивой рамке, на почетном месте, особенно выделялось выдержанное в тусклых серых тонах изображение мексиканского батрака, который примитивным деревянным плугом, запряженным двумя волами, проводил мелкую борозду по печальной однообразной мексиканской равнине. Были и более веселые картины, все из старого мексико-калифорнийского быта: пастель, изображающая эвкалиптовое дерево в сумерки на фоне далекой горы, с вершиной, тронутой закатом; пейзаж при лунном свете; сжатое поле в летний день с рядом гор и лесистыми ущельями за сизой дымкой.

– Знаете что, – вполголоса обратился Тэйер к сидевшему против него Нэйсмиту, в то время как Дик оживленно шутил с девушками. – Вы найдете богатый материал для вашей статьи в самом Большом доме. Я заходил в столовую для прислуги: за стол ежедневно садятся сорок человек служащих, включительно садовника, повара и поденщиков. Целая гостиница. Тут нужна голова, система, и этот их китаец О-Пой – прямо-таки клад. Он здесь домоправитель или управляющий. Вся машина работает так исправно, что и толчка не заметишь.

– А все же настоящий волшебник – сам Форрест, – возразил Нэйсмит, – он голова, выбирающая другие головы. Он с одинаковой легкостью мог бы вести военную кампанию, возглавлять правительство и даже заведовать цирком.

– Ну, последнее – настоящий комплимент, – горячо подхватил Тэйер.

– Послушай, Паола, – окликнул Дик жену через стол, – я только что получил известие, что завтра к нам приедет Грэхем. Ты бы сказала О-Пою, чтобы он поместил его в сторожевую башню, там просторно, и может быть, он приведет

свою угрозу в исполнение и порабатает над своей книгой.

– Грэхем? Грэхем? – припоминала Паола вслух. – А что, я с ним знакома?

– Ты с ним встречалась всего только раз, года два тому назад, в Сант-Яго. Он обедал с нами в ресторане.

– Ах, так это один из тех морских офицеров?

– Нет, штатский. Неужели не помнишь? Высокий блондин. Вы с ним толковали о музыке целых полчаса, пока капитан Джойс не уморил нас, доказывая, что Соединенные Штаты обязаны очистить Мексику бронированным кулаком.

– Ах да, – пыталась припомнить Паола. – Вы с ним, кажется, где-то встречались в Южной Африке? Или на Филиппинах?

– Тот самый. В Южной Африке. Его зовут Ивэн Грэхем. Потом мы еще раз встречались на вестовом судне, принадлежащем газете «Таймс», в Желтом море. Да и потом мы сталкивались еще раз десять, но все как-то не сходились до того вечера, в кафе «Венера». Странно вспомнить, он уехал из Бора-Бора на восток за два дня до того, как я поднял якорь по дороге на запад, на пути к Самоа. Затем я уехал из Апии, где рассчитывал передать ему письма от американского консула, за один день до того, как он туда приехал. В Левуке мы разминулись на три дня, я тогда плыл на «Дикой утке». Он гостил в Суве на британском крейсере. Сэр Эверард Турн, британский главный уполномоченный в Южных морях, снова снабдил меня письмами для Грэхема, но я не застал его на Ново-Гебридских островах. То же и на Соломоновых островах. Там крейсер бомбардировал несколько деревень людоедов в Ланга-Ланга, а утром он вышел в море. Я же прибыл туда только днем. Так лично я тех писем и не передал и следующий раз увидел его в кафе «Венера» два года тому назад.

– Но кто он и что он, – допрашивала Паола, – и что это за книга?

– Если начать с конца, он разорен, то есть разорен, имея в виду его прошлые богатства: он не нищий, несколько тысяч дохода у него осталось, но все, что ему оставил отец, уже ушло. Нет, не прокутил, последняя паника просто поглотила почти все его состояние. Но он не падает духом. Он из хорошего старинного рода, чистокровный американец, окончил Йэйлский университет. Книга?.. Он

надеется, что она будет иметь успех. Он в ней описывает свое прошлогоднее путешествие через Южную Америку, с западного берега до восточного, и большей частью по неисследованным частям Бразилии. Бразильское правительство по собственному почину назначило ему гонорар в десять тысяч долларов. Да, это в полном смысле человек: рослый, сильный, простой, душою чист. Везде был, все видел, почти все знает, честный, смотрит прямо в глаза. Мы, мужчины, таких любим.

Эрнестина захлопала в ладоши и, бросив на Берта Уэйнрайта победоносный, вызывающий взгляд, воскликнула:

– И завтра он приезжает?

Дик укоризненно покачал головой.

– Тут нет ничего по вашей части, Эрнестина; точно такие же милые барышни, как вы, не раз закидывали удочку, чтобы его поймать. Говоря между нами, я их ни чуточки не виню. Но у него отличные ноги, и он всегда успевал убежать; им и не удавалось загнать его в угол, где бы, запыхавшись и в полном истощении, он моментально ответил бы «да» на целый ряд вопросов и откуда бы вышел, как в тумане, связанный, сбитый с толку, заклеянный навсегда и женатый. Вы лучше оставьте его, Эрнестина, хватит с вас золотой молодежи с ее золотыми яблочками. Подбирайте их. Но Грэхема бросьте: он моего возраста, многое видел; его не поймаешь, хотя достаточно кроток. Он закален, очень умен и совсем не любит молодых девиц.

Глава IX

– Где мой мальчишка? – смеялся Дик, топая, бряцая шпорами по всему Большому дому в поисках маленькой хозяйки. Он побежал к двери, открывавшейся в ее длинный флигель. В двери этой не было ручки, она была сделана из громадной деревянной панели, входящей в стену, состоящую исключительно из панелей. Дик нажал потайную пружинку, известную лишь ему и жене, и дверь распахнулась.

– Где же мой мальчишка? – снова крикнул он и затопал по всему коридору.

Тщетно заглядывал он в ванную, с ее вделанным в пол римским бассейном с мраморными ступенями, напрасно заглянул в туалетную и гардеробную – никого. По короткой широкой лестнице он поднялся к ее любимому, сейчас пустому дивану, прилаженному под окном башенки, названной ею «Башней Джульетты». С особым интересом и удовольствием взглянул на разложенные кружева, батист, которыми она, очевидно, недавно любовалась. На минуту он остановился перед мольбертом: шутливый окрик замер на его устах – он весело рассмеялся, оценив по достоинству едва набросанный эскиз, в котором узнал неуклюжего костлявого жеребенка, только что отнятого от матки и отчаянно зовущего её.

– Где же мой мальчишка в шароварах? – крикнул он еще раз в сторону спального портика, но там застал только почтенную китайку, лет тридцати, застенчиво ему улыбающуюся.

Это была горничная Паолы Ой-Ли, взятая Диком почти ребенком из рыбацкой деревни на Желтом море, где ее мать плела сети для рыбаков и в хорошие годы зарабатывала этим промыслом по четыре доллара. Ой-Ли поступила к Паоле на трехмачтовую шхуну в то время, когда О-Пой, будучи еще юнгой, проявлял сообразительность, позволившую ему занять должность домоуправителя в Большом доме.

– Где ваша хозяйка, Ой-Ли? – спросил Дик.

Ой-Ли вся съежилась, замирая от застенчивости.

Дик все ждал.

– Может быть, она с молодыми барышнями?

– Я не знаю, – пролепетала она, и Дик, сжавшись над ней, повернулся на каблуках и вышел.

– Ну где же мой мальчик в шароварах? – вскричал он снова, выходя из-под ворот как раз в ту минуту, как по кругу, обсаженному сиренью, подъезжал автомобиль.

– Ну, я-то во всяком случае не знаю! – отозвался оттуда высокий блондин в легком летнем костюме. Через минуту Дик Форрест и Ивэн Грэхем пожимали друг другу руки.

О-Дай и О-Хо внесли в дом ручной багаж, а Дик проводил гостя в приготовленное для него помещение в сторожевой башне.

– Вам уж придется к нам привыкнуть, дружище, – предупреждал его Дик, – хозяйство идет у нас как по писаному, и слуги у нас отличные, но мы позволяем себе всякие вольности. Если бы вы приехали двумя минутами позже, вас некому было бы и встретить, кроме моих китайцев. Я только что собирался покататься верхом, а Паола – жена – куда-то исчезла.

Они были почти одинакового роста, Грэхем на какой-нибудь дюйм выше, но настолько же ?же в плечах. Он был несколько светлее Форреста, у обоих были одинаково серые глаза, с одинаково чистыми белками, кожа их лиц была одинакового бронзового оттенка от долголетней жизни на воздухе и загара. Черты лица Грэхема были несколько крупнее, глаза более продолговатые, но это было мало заметно под тяжелыми веками; нос как будто несколько крупнее и прямее, чем у Дика, губы чуть полнее и краснее, слегка более чувственные.

Волосы Форреста были светло-каштановые, а волосы Грэхема от природы, по-видимому, золотистые, казались выжженными солнцем, почти песочного цвета. У обоих были высокие скулы, но щеки у Форреста были более впалые. У обоих были широкие, тонкие ноздри и губы обоих, благородно очерченные, были нежны и чисты, вместе с тем в них чувствовалась твердость и даже суровость, как и в подбородках.

Небольшая разница в росте и объеме груди придавала Грэхему грацию движений, которой не хватало Дикю Форресту. В общем они как-то дополняли друг друга. В Грэхеме были свет и радость, что-то от сказочного принца. Форрест казался более мощным, более суровым и строгим.

Форрест мельком взглянул на ручные часы, которые носил на ремешке.

– Половина двенадцатого, – сказал он, – поедемте со мною, Грэхем. За стол мы сядем не раньше половины первого. Я грузу целых триста голов быков и горжусь ими. Вы должны на них посмотреть. Не беда, что вы не одеты. О-Хо,

принеси пару гетр, а вы, О-Пой, прикажите оседлать Альтадену. Какое вам седло, Грэхем?

- Да любое.

- Английское, австралийское? Шотландское? Мексиканское? - настаивал Дик.

- Если можно, шотландское, - попросил Грэхем.

Они остановили лошадей у самого края дороги, простояли, пока мимо них не прошло все стадо и последний бык не исчез за поворотом на пути в долгое странствие до Чили.

- Теперь я понимаю, чем вы занимаетесь, это чудесно, - восхищался Грэхем с засветившимися глазами. Я в молодости сам забавлялся этим в Аргентине. Начни я с такой породы, я бы, может быть, не кончил так плачевно.

- Но ведь то было время, когда еще не было ни нашей люцерны, ни артезианских колодцев, - утешил его Дик. - Время для шортхорнов тогда еще не созрело, корабли с холодильниками не были изобретены. Вот что вызвало революцию в этом деле.

- К тому же я был тогда просто мальчишкой, - добавил Грэхем. - Но ведь и не в этом суть. Там тогда над подобным же предприятием работал молодой немец; у него было не больше одной десятой моего капитала, а он выдержал все - и неурожайные годы, и засуху. Сейчас состояние его исчисляется миллиардами.

Они повернули лошадей назад, к Большому дому. Дик взглянул на часы.

- Времени еще много, - заметил он. - Я очень рад, что вы видели это стадо. Тот молодой немец выдержал потому, что у него другого выхода не было. Вы же могли пользоваться отцовскими деньгами, да, наверное, у вас ноги чесались, а главная ваша слабость, вероятно, в том и заключалась, что вы решили дать себе волю и имели возможность это сделать.

– Вот там рыбные пруды, – заговорил Дик, кивая головой вправо на что-то невидимое за гущей сирени. – Знаете, я достаточно скуп. Люблю, чтобы у меня все работало. Я готов признать восьмичасовой рабочий день, но вода у меня должна работать круглые сутки. Рыбные садки у меня самые разнообразные: они приспособлены к потребностям самых разных рыб. Вода у меня идет с гор и орошает несколько десятков горных лугов, прежде чем сбежать вниз, и очищается до кристальной прозрачности. А в том месте, где она падает с гор водопадами, она дает добрую половину энергии и обеспечивает нас электричеством. Затем русло разветвляется, вода стекает к рыбным прудам, а по выходе из них орошает огромные поля люцерны. И поверьте, если бы она не достигла, наконец, долины Сакраменто, я бы устроил еще дренаж для дальнейших оросительных работ.

– Удивительный вы человек, – рассмеялся Грэхем, – вы способны написать целую поэму о чудесах, творимых водою; огнепоклонников мне видеть приходилось, но сейчас я в первый раз вижу водопоклонника, а вы к тому же совсем не пустынный. Я хочу сказать...

Грэхем не договорил. Неподалеку, справа, раздался звук копыт по бетону, затем – сильный всплеск, женские голоса и взрывы смеха. Однако тотчас же они сменились испуганными воплями, всплескиванием и фырканием как будто тонущего огромного животного. Дик пригнулся к седлу и поскакал сквозь гущу сирени. Грэхем – за ним, на своей Альтадене. Они выехали на залитую жгучим солнцем поляну среди деревьев, и перед ними открылась совершенно неожиданная картина. Середину поляны занимал четырехугольный бассейн, выложенный бетоном. Верхний край бассейна во всю ширину совершенно отлогий, блестел от тихо скользящей по нему воды. Бока были отвесны, нижний слегка волнистый край незаметно переходил на сушу покатым спуском. И тут, в паническом ужасе, вне себя от волнения, в полном отчаянии стоял ковбой и, машинально подпрыгивая, непрерывно восклицал: «Боже мой, Боже мой!», то возвышая голос до крика, то понижая его до шепота. На дальнем краю бассейна в купальных костюмах, со спущенными в воду ногами, сидели три такие же растерявшиеся девушки.

В самом бассейне, в самом центре, громадный гнедой конь, весь мокрый, лоснящийся, как атлас, стоял в воде и бил по воздуху огромными передними копытами, сверкающими на солнце мокрой сталью подков; на спине его, беспрестанно соскальзывая, виднелась ослепительно белая фигура, которую Грэхем сначала принял за прекрасного юношу. И только когда жеребец, вдруг

опустившись в воду, снова вынырнул и опять забил ногами и подковами, Грэхем сообразил, что на нем сидит женщина в белом шелковом трико, облегающем ее тело так плотно, что она казалась изваянной из белого мрамора. Мраморной казалась ее спина, и только тонкие, нежно очерченные мускулы напрягались под шелковым покровом, пока она старалась удержать голову над водой. Ее тонкие, хотя и округленные руки переплелись с длинными прядями гривы жеребца; белые ножки пальцами впивались в его гладкие бока, тщетно ища в них ребра для опоры.

Грэхем мгновенно оценил ужас положения. Он понял, что это изумительное белое создание – женщина, осознал всю миниатюрность ее нежного сложения и достойное гладиатора напряжение. Она была похожа на статуэтку из дрезденского фарфора, совсем маленькую и легонькую, по нелепой случайности попавшую на спину утопающему чудовищу, или сказочную фею, такую крошечную верхом на великане-коне.

Стараясь удержать равновесие, она склонилась так низко, что прижалась рукой к огромной, вытянутой дугой шее коня, и ее разметавшиеся каштановые косы с золотистыми отблесками длинными мокрыми прядями легли по воде, смешиваясь с черной гривой коня. Но больше всего поразило Грэхема ее лицо. Это было лицо женщины и в то же время – мальчишеское. Взгляд ее был серьезен, а вместе с тем чувствовалось, что ей весело, что опасность доставляет ей удовольствие. «Это наша раса, – мелькало в голове у Грэхема, – это создание современности, но сколько в нем и язычества». И она, и вся картина действительно казались анахронизмом для XX столетия; от нее дышало древней Грецией или «Тысяча и одной ночью». Так подымались из глубины волн водяные духи или чудесные принцы верхом на крылатых драконах.

Жеребец, с трудом держась над водою, снова опустился, едва не перевернувшись. Он исчез под водой вместе со своей дивной всадницей, но не прошло и секунды, как они опять вынырнули, и конь снова забил в воздухе громадными передними копытами, а наездница держалась по-прежнему, крепко прильнув к гладким атласным мускулам. У Грэхема дух захватило при мысли о том, что бы случилось, если бы конь упал головой вниз. Один случайный удар огромным барахтающимся копытом мог бы навеки затушить огонь, светившийся в этих полных жизни глазах, горевший в этой дивной белой женщине.

– Сядь к нему на шею! – крикнул Дик. – Схвати его за челку и пересядь на шею, он тогда найдет центр тяжести.

Она послушалась, впила пальцами ног в ускользавшие мышцы жеребца и, опираясь на них, быстрым усилием подпрыгнула вперед и, ухватившись одной рукой за мокрую гриву, просунула другую между ушами коня и вцепилась ему в челку. Тяжесть лошади перебросилась вперед, и она тут же вытянулась в естественную горизонтальную линию, а Паола легким движением соскользнула назад, на прежнее свое место. Все еще держась одной рукой за гриву, она помахала другой, улыбкой приветствуя Форреста. Грэхем заметил, что она успокоилась настолько, что обратила внимание и на него, на то, что рядом с Форрестом показалось новое лицо. В обороте ее головы, в движении поднятой вверх руки не было и тени хвастовства или сознания собственной красоты. От них веяло чистой радостью пережитого и бьющейся через край смелостью и предприимчивостью.

– Немного найдется женщин, способных на такую выходку, – заметил Дик совершенно спокойно, глядя, как Горный Дух уже без труда, сохраняя, наконец, обретенное горизонтальное положение, плыл к другому концу бассейна, а там медленно взбирался по неровному склону.

Горному Духу тотчас прикрепили недоуздок к мундштуку. Но Паола, все еще верхом, наклонилась вперед, выхватила у конюха уздечку, повернула Горного Духа к Форресту и приветствовала его.

– А теперь уезжайте-ка, – крикнула она. – Здесь дамское общество, мужчинам быть не положено.

Дик рассмеялся, ответил на приветствие и, повернув лошадь, выбрался на дорогу тем же путем, через сиреневую изгородь.

– Да кто же это... кто это такая? – спросил Грэхем.

– Паола – моя жена, ребенок, не доросший до взрослой; она осталась ребенком; это очаровательнейшая и нежнейшая женщина и такая необыкновенно женственная.

– А знаете, у меня просто остановилось дыхание, – сказал Грэхем. – Часто у вас бывают такие чудеса?

– Такое именно представление я видел в первый раз, – ответил Форрест. – Тут все дело было в Горном Духе. Она, очевидно, вздумала пустить его прямо по гладкому спуску, это все равно, что прокатиться на санках с ледяной горы, только санки-то на четырех ногах да весом в две тысячи двести сорок фунтов.

– А ведь она рисковала как его шеей и ногами, так и своими, – заметил Грэхем.

– Что ж, его шея и ноги оценены в тридцать тысяч долларов, – улыбнулся Дик. – Столько предлагал мне один синдикат коннозаводчиков. Ведь он взял все призы на скачках по всему побережью и за красоту, и за резвость. Что же касается Паолы, она способна хоть ежедневно перебивать и шею и ноги на любую сумму, хоть до полного моего разорения, но с ней никогда никаких несчастий не бывает.

– А что, если бы он перевернулся?

– Да вот же, этого не случилось, – ответил Дик спокойно. – Уж это счастье Паолы. Ее убить не легко; знаете что, ведь я ее видел под огнем, и что бы вы думали: она потом искренне сожалела, что в нее не попала ни одна пуля. По нас палили четыре батареи, били шрапнелью, а нам пришлось ехать по открытой, ровной дороге и искать прикрытия за целую милю. Я укорял ее потом за то, что она не торопилась; она созналась, что я был прав. Мы женаты больше десяти лет, и, знаете, мне иной раз кажется, что по существу я ее совсем не знаю, да и никто ее не знает; она сама себя не знает. Это ощущение такое, точно смотришь на себя в зеркало и думаешь: да кто же это? Но у нас с Паолой один чудесный девиз: сколько бы ни стоило, было бы за что. А придется ли платить долларами, скотом или жизнью – это все равно. Так – по-нашему, и на это мы идем. И это – верное правило, ни разу еще мы не заплатили слишком дорого.

Глава X

За завтраком были только мужчины. Форрест пояснил, что дамы предпочли не выходить.

– Вы едва ли кого-то из них увидите раньше четырех часов – в четыре Эрнестина, одна из сестер Паолы, разобьет меня в пух и прах в теннис, по крайней мере, она мне этим пригрозила.

Грэхем просидел весь завтрак с мужчинами, принимал участие в общих разговорах о скотоводстве, узнал много нового и сам рассказал немало интересного, но все же не мог избавиться от преследовавшего его чудесного видения – изящной, словно выточенной, небольшой белой фигурки на темной громаде плывущего жеребца. После завтрака, во время осмотра премированных мериносов и беркширских поросят, это видение точно горело на его веках. Даже позднее, в четыре часа, играя в теннис с Эрнестиной, он не раз промахнулся, потому что вместо летящего мяча ему представлялась вдруг все та же картина: белая, как мрамор, женская фигура, прильнувшая к спине громадного жеребца.

Хотя Грэхем не был калифорнийцем, но калифорнийские обычаи знал хорошо, и поэтому несколько не удивился, увидев, что к обеду переоделись только дамы. Сам он предусмотрительно воздержался от перемены туалета, несмотря на то что хозяйство в Большом доме велось на такую широкую ногу.

Гости и девушки вышли в длинную столовую после первого звонка; тотчас же после второго появился Дик Форрест. Грэхем с нетерпением ожидал появления хозяйки, образ которой с утра преследовал его. Он был вполне готов и к разочарованию. Ему приходилось видеть немало атлетов, терявших всю обаятельность в салонах, и он вполне допускал, что чудесное создание в белом шелковом купальном костюме много потеряет в европейской одежде.

Но когда она вошла, он вздрогнул: на секунду она остановилась в дверях, резко выделяясь на фоне царившего за ней полумрака, озаренная спереди мягким светом. Грэхем невольно раскрыл рот при взгляде на эту красоту, потрясенный новым обликом женщины, казавшейся ему утром такой маленькой, такой миниатюрной. Теперь перед ним стоял отнюдь не шаловливый подросток, а великосветская дама с величавой осанкой, свойственной в известных случаях только маленьким женщинам. В действительности она не только казалась, но и была выше ростом, чем он думал, и в вечернем туалете фигура ее была не менее стройна, чем в купальном костюме. Он сразу охватил взглядом ее золотисто-каштановые волосы, собранные в высокую прическу, здоровую матовую белизну кожи, округлость шеи, чудесно посаженной на прекрасные плечи, и, наконец, платье, темно-синее, немного средневекового покроя с полусвободной, полуприлегающей талией, широкими рукавами и отделанное золотом и

цветными камнями. Она улыбнулась гостям общей улыбкой; Грэхем тотчас же узнал эту улыбку и вспомнил, как она улыбнулась, сидя верхом на жеребце. Пока она подходила ближе, он не мог не заметить, с какой грацией она придерживала коленями тяжелый шелк своего платья. Он помнил эти округлые колени, отчаянно прижимавшиеся к выпуклым плечевым мускулам Горного Духа. Грэхем заметил, что она не носила корсета и не нуждалась в нем, и пока она подходила к столу, образ ее двоился в его глазах: он видел великосветскую даму, хозяйку Большого дома, а под синим платьем, расшитым золотым галуном, – чудесную статую наездницы, которую не могли стереть из его памяти никакие туалеты.

Но вот она подошла; вот она среди них; Грэхем, представленный ей, на мгновение удержал ее руку; она приветствовала нового гостя в Большом доме певучим голосом, какого он и ждал. Из ее горла, из такой безупречной груди других звуков исходить не могло.

За столом, сидя наискось от нее, он не мог удержаться, чтобы украдкой не смотреть на нее. Он участвовал в общем непринужденном и подчас веселом разговоре, но взоры и мысли его были прикованы к хозяйке.

В такой разнородной компании ему еще никогда не приходилось обедать. Покупатель овец и корреспондент «Вестника скотоводов» все еще были здесь. Незадолго до обеда в трех автомобилях приехала компания из четырнадцати мужчин, женщин и молоденьких девушек, собиравшихся остаться до позднего вечера, чтобы возвращаться при луне. Всех имен Грэхем не запомнил, но понял, что они из небольшого города Уикенберга, лежащего в долине, милях в тридцати, что тут и мелкие банкиры, и богатые фермеры, и люди свободных профессий. Все много смеялись, так и сыпались шутки и анекдоты.

– Уж я сразу вижу, – заявил Грэхем Паоле, – если у вас тут все время такой караван-сарай, то мне нечего и стараться запоминать имена и лица.

– Да, вы совершенно правы, – засмеялась она в ответ. – Но все это соседи. Они заезжают запросто. Вот эта миссис Уатсон, что сидит подле Дика, принадлежит к старинной местной аристократии. Дед ее Уикен перевалил сюда через Сьеррские горы в 1846 году, и город Уикенберг назван в его честь. А вот эта хорошенькая черноглазая девушка – ее дочь.

Но все время, пока Паола занимала его краткой характеристикой случайных гостей, Грэхем едва слышал все, что она ему говорила. Он был поглощен одним стремлением – проникнуть в самую душу своей собеседницы. Основная ее черта – непринужденность, решил он сначала, но через несколько минут передумал, его поразила ее жизнерадостность. Но и эти два вывода его не удовлетворили – и вдруг его осенило: гордость, вот в чем дело. Она чувствовалась во взгляде глаз, в постановке чудесной головки, в крутых завитках волос, в чутком трепете подвижных губ, в легком подъеме круглого подбородка, в маленьких сильных ручках с голубыми жилками под нежной кожей, в которых сразу узнавались руки пианистки, долгие часы проводящей за роялем. Да, гордость дышала в каждой мышце, в каждом нерве, во всем ее существе – сознательная, почти мучительная гордость. Пусть она жизнерадостна и непосредственна, женщина-мальчик, школьница, готовая на всякую шалость. Но гордость в ней чувствовалась неусыпная, напряженная, глубокая. Из этой стихии она вышла. Истая женщина, откровенная, искренняя, прямая, гибкая, демократичная, все что угодно, но не игрушка. Во всех ее причудах чувствовалась сила, он сравнивал ее с тонкой проволокой, с тончайшей серебряной струной, с тонкой дорогой сталью, со слоновой костью, с отточенным перламутром.

– Ваша правда, Аарон, – услышал он голос Дика Форреста с другого конца стола. – Вот вам мнение, высказанное Филиппом Бруксом. Брукс говорит, что тот не постиг истинного величия, кто хоть отчасти не осознал, что его жизнь принадлежит его народу и что все, что Господь ему даровал, дано ему ради всего человеческого.

– Итак, в конце концов, вы верите в Бога, – с добродушной усмешкой откликнулся именуемый Аароном высокий стройный мужчина с продолговатым оливкового цвета лицом, блестящими черными глазами и очень черной длинной бородой.

– Да не знаю, право, – ответил Дик, – эти слова я понимаю иносказательно; называйте это начало – нравственностью, добром, эволюцией.

– Чтобы быть великим, отнюдь не нужно правильно мыслить, – вмешался молчаливый ирландец с худым узким лицом, в потертой одежде. – Мало того, мы знаем очень много людей, абсолютно правильно осмысливших вселенную, но отнюдь не великих.

– Верно, Терренс, верно! – зааплодировал Дик.

– Весь вопрос в точном определении, – лениво вмешался третий гость, явно индус, крошивший хлеб изумительно изящными и тонкими пальцами. – Итак, что мы должны разуместь под словом «великий»?

– Не определяется ли оно одним понятием красоты? – тихо спросил юноша с трагическим лицом, нервный и робкий, с безобразно подстриженной прядью длинных волос.

Вдруг с места вскочила Эрнестина и, опираясь руками на стол, наклонилась вперед в позе собирающегося с силами оратора.

– Ну, начали, – закричала она, – начали? В сотый раз будут теперь перекраивать и перетасовывать весь мир. Теодор, – обратилась она к юному поэту, – вы уж не отставайте. Ваш конек ничуть не хуже прочих, может быть, вы их обгоните.

Наградой ей был громкий хохот, а поэт весь покраснелся и, как улитка, ушел в свою раковину.

Эрнестина обрушилась на чернобородого.

– Очередь за вами, Аарон; он сегодня что-то не в духе. Вы уж начните. Вы сумеете. Ну, начинайте: «Как метко выразился Бергсон с исключительной тонкостью философской терминологии и обширнейшим умственным кругозором...»

Все общество снова покатило со смеху, заглушив как заключение Эрнестины, так и шуточный ответ чернобородого.

– Нашим философам сегодня не удастся сразиться, – шепнула Паола Грэхему.

– Философам? – переспросил он. – Ведь они не приехали с той компанией из Уикенберга? Кто они и что они? Я ничего не понимаю.

– Они... – не сразу ответила Паола. – Они здесь живут и называют себя жителями джунглей, у них свой поселок в горах, милях в двух отсюда. Они там ничего не делают, только читают и ведут длинные беседы. Я пари готова держать, что вы у них найдете штук пятьдесят последних полученных Диком книг, еще не

попавших в каталог. Доступ в нашу библиотеку им открыт: их постоянно можно видеть входящими и выходящими оттуда, нагруженными книгами и последними журналами в любое время дня и ночи. Дик говорит, что благодаря им у него теперь самое полное и самое современное собрание книг по философии на всем Тихоокеанском побережье. Они как бы переваривают для него все эти вопросы; Дика это очень занимает; к тому же он на этом экономит время, ведь он страшно много работает.

– Значит, они живут на средства Дика? – спросил Грэхем, с наслаждением глядя прямо в голубые глаза, открыто устремленные на него. Он слушал ее ответ и любовался легким бронзовым оттенком, отливом ее длинных темных ресниц. Потом ему пришло в голову, что, может быть, это игра света, и он невольно перевел взгляд на брови, тоже темные и тонко очерченные, и убедился, что и в них играет тот же золотисто-бронзовый оттенок, только, пожалуй, еще ярче. И еще выше, в зачесанной вверх массе волос, оттенок этот был еще заметнее. Поразили и восхитили его и блеск ее зубов и глаз, и ослепительная улыбка, то и дело озарявшая ее и без того оживленное лицо. «Это не искусственная улыбка, – подумал он, – когда она улыбается, она улыбается вся, великодушно, радостно, точно излучая из себя то, что составляет ее душу, что таится там, где-то, в этой чудесной головке».

– Да, – продолжала она, – им нечего заботиться о хлебе насущном. Дик ведь крайне щедр; может быть, он даже напрасно поощряет праздность подобных господ. Да вообще вы найдете у нас немало забавного, пока не привыкнете. Они наши, точно родовое достояние, понимаете? Они останутся с нами навсегда, пока не схоронят нас или мы их. Иногда случается, что один из них и сбежит куда-нибудь, но ненадолго. Знаете, они, как кошки. Дику тогда приходится потратить немало денег, чтобы разыскать его и дать ему возможность вернуться. Возьмите, например, Терренса, его зовут Терренс Мак-Фейн. Он анархист-эпикурец, если вы только понимаете, что это значит. Он и мухи не убьет, у него есть кошка, – я же ему ее и подарила, – чистой персидской породы. Голубая, совсем голубая, – так он ищет на ней блох, но не убивает их, а собирает в скляночку, уносит в лес и там выпускает на волю. В лесу он гуляет без конца; люди часто надоедают ему, а природу он любит. И вот в прошлом году у него появилась мания: изучение генезиса и эволюции алфавита. Он отправился в Египет, разумеется, без всяких денег, единственно с целью докопаться до этого самого происхождения и извлечь из него простую формулу, которая объяснила бы и происхождение вселенной. Добрался до Денвера, странствуя как бродяга. Там он попался в каких-то уличных беспорядках; Дику пришлось пригласить адвокатов, платить штраф и вообще затратить массу

труда, чтобы водворить его невредимым домой.

- Ну, а вон тот - бородатый?

- Аарон Хэнкок, - продолжала Паола, - он так же, как и Терренс, не желает работать. Аарон - южанин. Он утверждает, что в его семье, в его роду никто никогда не работал и что на свете всегда найдется достаточное количество дураков, которых от работы все равно не удержишь. Потому-то он и ходит с бородой. Он считает, что бриться - напрасный труд и, следовательно, безнравственно. Я отлично помню, как он предстал перед нами в Мельбурне, точно испеченный на солнце дикарь, прямо из австралийских дебрей. Он, видите ли, производил там какие-то самостоятельные исследования по антропологии или фольклору, что-то в этом роде. Дик знавал его раньше в Париже и сказал ему, что если судьба его когда-нибудь занесет на родину, в Америку, то кров и пища ему обеспечены. Вот он и явился.

- А поэт? - спросил Грэхем, довольный тем, что она будет продолжать говорить и он сможет смотреть на игру ее улыбки.

- Ах, Тео? Теодор Мэлкен, мы его называем Лео. Он тоже не желает работать. Он из старинного калифорнийского рода; семья его страшно богата; но родственники от него отреклись; он же отрекся от них, когда ему было всего пятнадцать лет. Они говорят, что он сумасшедший, а он уверяет, что они действуют ему на нервы. Он, правда, пишет чудные стихи, когда захочет, но чаще всего он предпочитает мечтать и жить в лесу с Терренсом и Аароном. Терренс и Аарон выручили его или забрали насильно, уж не знаю; он в Сан-Франциско обучал еврейских эмигрантов. Здесь он два года, но все такой же тощий; Дик посылает им припасы без конца, но они предпочитают болтать, читать и мечтать, а стряпать не любят. Отъедаются они только изредка, когда нагрянут к нам, вот как сегодня.

- А индус, он кто такой?

- Ах, это - Дар-Хиал, он у них гостит. Это они все трое его пригласили, как сначала Аарон пригласил Терренса, а затем Аарон и Терренс пригласили Лео. Дик уверяет, что со временем появятся еще трое мудрецов, и тогда у него в лесу соберутся все «семь мудрецов». Их поселок стоит в замечательном месте: живые ключи, лесная теснина среди гор, впрочем, я собиралась рассказать вам про Дар-

Хиала. Он что-то вроде революционера... Где он только ни учился – и в наших университетах, и во Франции, и в Италии, и в Швейцарии; из Индии он бежал как политический эмигрант, теперь же носится с двумя идеями: с какой-то новой системой синтетической философии и с освобождением Индии от гнета британского владычества. Он за индивидуальный террор и за активное выступление масс. Взгляды свои он отстаивал в газете «Кадар» или «Бадар», но ее закрыли здесь, в Калифорнии. А его самого чуть не выслали. Потому-то он у нас, он себя всецело посвятил философии и пытается дать теоретическое обоснование своей системы. С Аароном он спорит нещадно, но, впрочем, только на философские темы. Теперь, кажется, я вам все объяснила, – закончила Паола со вздохом, тотчас же сглаженным прелестной улыбкой. – И еще, если вы короче сойдетесь с нашими мудрецами, имейте в виду – это особенно пригодится в холостой компании, – что индус никакого вина в рот не берет; Теодору Мэлкену ничего не стоит напиться в поэтическом экстазе, а Аарон Хэнкок большой знаток в винах; что же до Терренса, то он в винах не разбирается, но если под стол свалятся девяносто девять человек из ста, он с не меньшим энтузиазмом продолжит излагать свое учение об эпикурейском анархизме.

За обедом Грэхем обратил внимание на то, что присяжные «мудрецы» называли хозяина Диком, а хозяйку не иначе как «миссис Форрест», хотя она их всех называла по именам. И это выходило без всякой натяжки, вполне естественно. Им всем мало что импонировало на белом свете, но в жене Дика Фррреста они бессознательно и неизменно чувствовали строго выдержанную неприступность, и ее имя оставалось для них запретным. Ивэн Грэхем не замедлил убедиться по каким-то неуловимым признакам, что у жены его приятеля была своя особая манера держаться – сочетание самой непринужденной демократичности с прирожденной величием.

То же самое он наблюдал и после обеда в общей небольшой гостиной, куда все перешли, встав из-за стола. Она вела себя очень просто, но никто не позволял себе лишнего. Пока общество усаживалось, Паола мелькала повсюду, превосходя всех оживлением. То тут, то там, то в одном углу комнаты, то в другом звонко разливался ее смех, такой чарующий для Грэхема. В этом смехе была такая певучесть, что его сразу можно было выделить, и Грэхем, прислушиваясь к нему, потерял нить аргументации молодого мистера Уомболда, доказывавшего, что Калифорния нуждается не в законе, запрещающем японскую эмиграцию, а, наоборот, – в ввозе не менее двухсот тысяч японцев на калифорнийские фермы и в отмене восьмичасового рабочего дня для сельскохозяйственных рабочих. Из разговора Грэхем понял, что мистер Уомболд был потомственным крупным землевладельцем, унаследовал от родителей

прекрасное имение, расположенное недалеко от Уикенберга, и гордился тем, что, не уступая духу времени, продолжал жить на своей земле. Вокруг рояля толпились барышни, доносились отрывки модных песен. Терренс Мак-Фейн и Аарон Хэнкок горячо заспорили о музыке футуристов. Грэхем спасся от необходимости высказывать свои взгляды по японскому вопросу: к ним подошел Дар-Хиал, провозглашая, что «Азия для азиатов, а Калифорния – для калифорнийцев».

Вдруг Паола пробежала через всю комнату, подобрав юбку. За нею мчался Дик и успел схватить ее за руку в ту минуту, когда она, стараясь скрыться за собеседниками Уомболда, выбегала с противоположной стороны.

– Вот злая женщина, – укорял ее Дик, якобы в порыве страшного гнева, и они тут же оба стали просить Дар-Хиала протанцевать.

И Дар-Хиал сдался, забыв об Азии и азиатах, и проплясал мрачную пародию на танго, именуя свое представление «пластическим апогеем современных танцев».

– А теперь, Багряное Облако, спой мистеру Грэхему свою песню о желудях, – приказала Паола Дику.

Форрест стоял с ней рядом, все еще удерживая ее рукой и предупреждая возможное наказание. Он мрачно отказался.

– Песню о желуде! – крикнула Эрнестина, сидевшая у рояля, и другие барышни подхватили просьбу.

– Ну, пожалуйста, Дик! – настаивала Паола. – Один только мистер Грэхем не слышал, как ты поешь.

Дик отрицательно покачал головой.

– Ну, тогда спой ему твою песню о золотой рыбке.

– Я ему спою про Горного Духа, – решительно возразил Дик, и глаза его загорелись своенравным блеском. Он ударил ногами о пол, подпрыгнул, заржал,

подражая Горному Духу, отряхнул воображаемую гриву и во весь голос:

- Слушайте! «Я – Эрос! Я попираю холмы!»

- Песню о желуде, – быстро и спокойно перебила его Паола, но в голосе ее слышалась сталь.

Дик послушно оборвал песню о Горном Духе, мотнув головой, как упрямый жеребец.

- У меня есть новая песня, – заявил он торжественно. – Это о нас с тобой, Паола. Я ее взял у нишинамов.

Дик отплясал шагов десять, не сгибая ног, по индийскому обычаю, ударил себя ладонями по икрам и начал новую песню, все еще удерживая жену рукой.

- «Я, я – Ай-Кут, первый среди нишинамов. Ай-Кут – это сокращенное имя Адама, отец мой и мать были солнцем и луной. А это – Йо-то-то-ви, моя жена, первая женщина среди нишинамов. Ее отец был кузнечик, а мать – кошка с хвостом колечком. После моих они были самыми лучшими родителями. Солнце очень мудрое, а луна очень старая. Но что хорошего можно сказать о кузнечике и кошке с хвостом колечком? Нишинамы всегда правы, праматерью всех женщин и была, наверное, кошка, маленькая, ловкая и хитрая кошка с печальной мордочкой и полосатым хвостиком»...

Гимн о первом мужчине и о первой женщине был прерван возмущенными протестами женщин и аплодисментами мужчин.

- «Йо-то-то-ви – сокращенное Ева, – продолжал петь Дик, резким движением прижимая к себе Паолу, подражая варварской грубости. – Йо-то-то-ви не очень велика. Но не требуйте от нее многого; виноваты в этом кузнечик и кошка с хвостом колечком. Я – Ай-Кут – первый человек, не осуждайте меня за мой выбор. Я был первым мужчиной, а она – первой женщиной. Раз выбора нет, то и выбирать не приходится. Так было у Адама, и он выбрал Еву. Для меня существовала во всем мире одна только женщина Йо-то-то-ви, и поэтому я выбрал Йо-то-то-ви».

Ивэн Грэхем слушал; глаза его остановились на руке Дика, властно обнимавшей прекрасную маленькую хозяйку. Он почувствовал в сердце боль, а в голове мелькнула мысль, которую он тут же ее раздраженно отогнал: «Дику Форресту везет, чересчур везет».

– «Я – Ай-Кут, – продолжал петь Дик. – Эта женщина – моя роса, моя медовая роса. Я солгал. Ее родители не были ни кузнечиком, ни кошкой. Мать ее была зарей на хребте Сьерры, а отец – летним восточным ветром с этих же гор. Они сговорились и из воздуха и земли выпили все сладостное, и в тумане, порожденном их любовью, листья чаппараса и мансаниты покрылись медовой росой. Йо-то-то-ви, Йо-то-то-ви, моя сладкая роса, слушайте меня! Я – Ай-Кут, Йо-то-то-ви – моя перепелка, моя лань, моя жена, пьяная нежным дождем и соками жирного чернозема. Ее родили молодые звезды и растил свет зари, когда солнце еще не взошло...». Если, – закончил Форрест, переходя снова на естественную интонацию, – если вы не считаете, что старый голубоглазый Соломон превзошел меня своей «Песнью Песней», то подпишитесь на издание моей.

Глава XI

Сначала только миссис Мэзон, одна из приезжих дам, попросила Паолу сыграть, но Терренс Мак-Фейн и Аарон Хэнкок тотчас же бросились разгонять веселую компанию у рояля и отправили покрасневшего Теодора Мэлкена умолять ее от имени всех.

– Я бы хотел, чтобы вы разбили все доводы этого варвара, вот почему и прошу вас сыграть «Размышления», – услышал Грэхем его слова.

– А затем, пожалуйста, «Девушку с льняными волосами», – в свою очередь попросил Хэнкок, осужденный собеседниками за варварство, – это докажет, что я прав. У этого дикого кельта своя болотная теория музыки, она, может быть, и была правильна, когда еще и пещерный человек не родился; он так безнадежно глуп, что считает себя чрезвычайно сверхсовременным знатоком искусства.

– Ах, Дебюсси! – засмеялась Паола. – Вы все еще не сложили копья, ну, хорошо, я и к нему подойду, но не знаю, с чего начать.

Дар-Хиал вместе с остальными тремя мудрецами усадили Паолу за громадный концертный рояль, Грэхем решил, что он не слишком велик для этого помещения. Но как только она села, все трое мудрецов тихонько разбрелись по своим, очевидно, излюбленным местам. Молодой поэт растянулся во весь рост на огромной пушистой медвежьей шкуре и запустил руки в волосы. Терренс и Аарон удобно расположились на подушках широкого дивана под окном, не слишком далеко друг от друга, чтобы иметь возможность тут же и поспорить, подтверждая свое понимание игры Паолы. Барышни расселись по диванам и большим креслам и даже устроились на ручках кресел.

Ивэн Грэхем сделал шаг вперед, надеясь, что сможет поворачивать для Паолы ноты, но вовремя заметил, что Дар-Хиал опередил его, и остался на месте, спокойно, с любопытством наблюдая за всем. Концертный рояль стоял на небольшом возвышении для резонанса под низким сводом, в дальнем конце зала. Шутки и смех прекратились. «По-видимому, – подумал Грэхем, – маленькую хозяйку считают талантливой пианисткой», и он почти злорадствовал, готовый к разочарованию.

Эрнестина, сидевшая неподалеку от него, сказала вполголоса:

– За что ни примется, все у нее спорится. А ведь работает она очень немного. Она училась у Лешетицкого и Терезы Карреньо, это их школа, а играет она совсем не по-женски, послушайте!

Грэхем отлично понимал, что нечего особенно ждать от самоуверенных ручек, забегавших по клавишам в быстрых пассажах и тихих аккордах, пока она сидела, задумавшись, что бы сыграть, – такое введение он слышал нередко и раньше на концертах технически грамотных, но не слишком музыкальных пианистов. Он сам не знал, что ожидал услышать, но, во всяком случае, совершенно не был готов к прелюдии Рахманинова, предназначенной, по его мнению, для мужского исполнения; в женском ему она никогда не нравилась.

С первых двух тактов Паола властно, по-мужски, обеими руками завладела клавиатурой, точно приподнимала ее. А затем, опять-таки чисто по-мужски, она непосредственно погрузилась, или сразу перешла – этого он определить не мог, в бесподобную нежность и чистоту *andante*. Так она продолжала играть со спокойствием и силой, которых никак нельзя было ожидать от этой маленькой женщины, почти ребенка, и он залюбовался ею из-под полуопущенных век, глядя на нее и на черный громадный рояль, которым она владела, как владела и

собой, и замыслом композитора. Удар у нее был твердый, властный – и прелюдия замирала в конечных аккордах, унося в воздух мощные звуки.

Пока Аарон и Терренс на своем подоконнике продолжали бесконечный спор, а Дар-Хиал, по просьбе Паолы, отыскивал для нее другие ноты, она мельком взглянула на Дика, и он понемногу стал гасить электричество – и Паола осталась будто одна среди мягкого света, в котором ярче проявлялась игра матово-золотистого отлива ее платья и волос. Грэхем видел, как высокая комната как бы становится еще выше от набегавших теней. Она была длиной в восемьдесят футов и поднималась на два с половиной этажа: от пола до положенного на балках потолка ее окаймляла галерея, с перил которой свисали шкуры диких зверей, домотканые одеяла из Окасаки и Эквадора и выкрашенные растительными красками кошмы с тихоокеанских островов. Грэхем вспомнил, что это помещение устроено по образцу праздничного зала средневековых замков, и он невольно пожалел, что недостает длинного стола с оловянной посудой и огромных псов, грызущихся под столом из-за брошенных им костей.

Позднее, когда Паола закончила играть Дебюсси, подбросив Аарону и Терренсу новый материал для споров, Грэхем завел с ней оживленный разговор о музыке. Он понял, как глубоко она разбиралась в философии музыки, и незаметно для себя стал излагать ей и свою любимую теорию.

– Итак, – закончил он, – главному психологическому фактору музыки потребовалось три тысячи лет, чтобы запечатлеться в умах западных рас. Дебюсси подходит ближе к ясности и чистоте созерцания, скажем, эпохи Пифагора, чем любые из его предшественников.

Паола перебила его, поманив к себе Терренса и Аарона с их поля сражения на подоконнике.

– Ну, и что же? – спрашивал Терренс, подходя к ней вместе со своим приятелем. – Я вам скажу, Аарон, что вы не извлечете из Бергсона ни одного слова о музыке более понятного, чем все, что он сказал в своей «Философии смеха», а ведь и она отнюдь не понятна.

– Послушайте! – воскликнула Паола с заискрившимися глазами. – У нас здесь новый пророк: мистер Грэхем. Он вполне достоин вас; он согласен с тем, что музыка – лучшее убежище от крови и железа. Он утверждает, что и слабые

души, и чувствительные, и высокие души одинаково бегут от грязи и серости к утешительным видениям высшего мира ритма и музыкального темпа.

– Атавизм! – буркнул Аарон Хэнкок. – Пещерные люди, обезьяны, болотные предки Терренса тоже занимались этим.

– Но послушайте, – настаивала Паола, – тут важны его заключения, методы и ход мыслей, а в этом, Аарон, он с вами по существу согласен. Он ссылался на Патера, утверждавшего, что всякое искусство стремится реализовать себя в музыке.

– Это все доисторический период и химия микроорганизмов, – вмешался Аарон. – Реакция клеточных элементов на фантастическую длину волн солнечных лучей лежит в основе всех народных песен и танцев. Тут Терренс и завершает свой круг, и все его теории теряют смысл. Вы теперь меня послушайте, что я докажу.

– Но подождите, – взмолилась Паола, – мистер Грэхем уверяет, что английское пуританство остановило развитие музыки, то есть настоящей музыки, на целые века.

– Это правда, – сказал Терренс.

– И что Англии пришлось пробивать себе дорогу к чувственному наслаждению музыкой через Мильтона и Шелли.

– Он был метафизиком, – вставил Аарон.

– Метафизик-лирик, – немедленно определил Терренс. – Это уж вы должны признать, Аарон.

– А Суинберн? – спросил Аарон, по-видимому, возвращаясь к прежним спорам.

– Он уверяет, что Оффенбах был предшественником Артура Сюлливэна, – задорно воскликнула Паола. – А Обер якобы был предшественником Оффенбаха; что же касается Вагнера, так вы его спросите, нет, вы спросите его...

Сама она ускользнула, предоставив Грэхема его судьбе. А он следил за ней, заглядываясь на силу и легкость, с которой она коленями приподымала

тяжелые складки платья, направляясь к миссис Мэзон в другой конец зала, чтобы организовать партию в бридж. Он едва различал, что говорит Терренс:

– Все согласны с тем, что у греков музыка была главной вдохновительницей, основой всех других искусств...

Немного погодя, когда оба мудреца совершенно забылись в жарком споре о том, чьи произведения глубже, Берлиоза или Бетховена, Грэхем сбежал. У него, конечно, была одна цель: он хотел снова быть рядом с хозяйкой, но она уже сидела с девушками в широком глубоком кресле и о чем-то шепталась и весело болтала с ними. Большая часть общества занялась бриджем; Грэхем подошел к компании, где собрались Дик Форрест, Умболд, Дар-Хиал и корреспондент «Вестника скотоводов».

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Меньера болезнь заключается в приступах головокружения и глухоты вследствие изменений в лабиринте уха.

Купить: <https://tellnovel.me/ru/dzhek-london/malenkaya-hozyayka-bolshogo-doma-hram-gordyni-sbornik-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)